

**К Р У Г**

**А Л Ь М А Н А Х  
К Н И Г А В Т О Р А Я**

**П А Р А Б О Л А**



*К Р У Г*

*А Л Ь М А Н А Х*

---

*П А Р А Б О Л А*

Всѣ права сохранены за автором  
Copyright by the author  
Alle Rechte, insbesondere das der Uebersetzung,  
vorbehalten

Druck: Speer & Schmidt, Berlin SW 68.

*Борис Поплавскій.*

## ДОМОЙ С НЕБЕС (отрывок).

О, город, город, ближе к ночи, когда уже сгорѣла заря и только зеленый отблеск ея безконечной поло- сою свѣтитса на западѣ, но воздух еще душен, не успѣвши опомниться от палящаго присутствія солнца, когда стѣны еще совсѣм теплы, а над ними, как раскаленное желѣзо, таинственно ярко вспыхивают крас- ные линіи неоновых ламп, малиновым заревом падая на листья и лица, в то время как четко, плавно, из раскрытаго окна расточается по воздуху невидимый джаз радіостанціи. Луна над разноцвѣтною водою ка- жется теплой и близкою, подать рукою. Углубленія желѣзнаго віадукса становятся темно лиловыми, а там над ним уже вспыхнули тусклые ряды электрических лампочек, означающих в ракурс видимую станцію под- вѣсной желѣзной дороги.

Нечего дѣлать; разомлѣвъ вдруг от бесполезной силы своей и от вечерней душевной городской задушевности, выбившись из ритма самозащиты, загорѣлый молодой человек сидит на платформѣ, которая періодически пустьвет. Тогда что-то совсѣм дачное появляется в ней, и вновь возникает на противоположной сторонѣ стои- чески согнутая фигура бродяги, которая сейчас опять

исчезает за многоногой толпой пассажиров. В промежуткѣ станція кажется теперь желѣзным кораблем, гдѣ они двое и распухшій от однообразія контролер, подвѣшенные гдѣ то над городом и временем, молчаливые путешественники без направленія и без возврата, и надо все-таки уходить; «как это всѣм есть куда податься», а ему вот Олегу в сущности некуда и поэтому ему безразлично пойти, спустившись на набережную, направо, или налево, или пересѣчь мост Пасси. Олег волоча ноги пересѣк мост Пасси и мимо того же кіоска Трокадеро, гдѣ снова загорѣлся декадентскій газ, дошел до непривѣтливой авеню Клебер, помедлил около Триумфальной арки, пошел, ваяндаясь, по полям Елисейским.

Город давил его, вчера, наемни только что вернушагося с океана, что-то величественно душное было в знакомой печали раскаленного вечера на границѣ осени, на границѣ ночи. По широкому проспекту прохожіе шли толпою; люди были здѣсь почище, но не было в них любимаго им, фамиллярнаго приволья французскаго пролетаріата, глумливо, остроумно перекликающагося под деревьями, иные тащили пессимистических дѣтей, иные сидѣли в Мопассановских позах на желтых, желѣзных стульях, другая порода, чѣм там на станціи, гдѣ он опять, тщетно проклиная себя за свою слабость, ждал Таню. Там слѣзающіе люди были веселы тяжелой, изомлѣвшей веселостью пропащаго воскресенья; широкоплечіе подростки пересмѣивались с блестящелицыми, осоловѣвшими дѣвушками; отцы возвращались из предмѣстій с цѣлым садом цвѣтов, в клеенчатых мѣшках для провизіи, а священнику было жарко в черном своем талесѣ и он по демократически

обмахивал средневѣковой шляпой свой лысый лоб, на котором от нея оставалась круговая, багровая черта, а позже всѣх, как то боком, из вагона вываливается совершенно пьяный человек, едва не застряв в автоматических дверях и так боком, совершенно вопреки законам равновѣсія, подвигается к выходу, и всѣ, с симпатіей, опаской и тайной завистью, на него озираются, а он, тоже кого-то до безобразія переждав, не дождавшись в кафе, что-то сумрачно говорит в пространство, дѣлая тяжелые, невѣрные жесты.

Олег только что вернулся и с нездоровой радостью-печалью осматривает свои владѣнія, потому-что город, особенно эти улицы, был мѣстом, гдѣ он впервые до конца, до слез, возмутился своим одиночеством и, стерпѣвъ его, ожил какой-то новой стоической, замкнутой, зрительной жизнью, но сегодня он снова, как тогда, незащищен был ни от чего, снова шел куда-то, ждал чего-то и, конечно, невольно взял курс на Монпарнас — встрѣтиться с товарищами литераторами, и скоро — по знакомым мѣстам — он очнулся от надобѣвшей боли тщетнаго ожиданія на метро Гренель. Снова, побив всѣ рекорды благородства и безхарактерности, он ждал ее почти до десяти часов и снова один попал в тот сумрачный час, гдѣ каждый, размѣстившись, счастлив своим мѣстом, а на улицѣ остались одни лишніе люди, обманутые любовники, безработные иностранцы. Среди них в затихшем уличном воздухѣ однообразно кричали газетчики и радіо неестественным басом возглашало результаты велосипедной гонки; их жгли натруженные ботинки и дикое желаніе не то выпить, не то пожаловаться кому-то старшему и всемогущему, не то подраться с первым встрѣчным.

Шествуя, Олег проходил мiры и кварталы с другими прохожими, принадлежавшими, казалось, к другой расѣ. Их раздѣлили промежуточные улицы, пустыя и мрачныя. Так, на Сен-Мишелѣ, он сразу без перехода попал в сплошное шествіе двадцатилѣтних подростков с дисгармоничными голосами, порочно свободными движеніями и наложенными плечами. Люди здѣсь громко переговаривались, дурили и толкали прохожих. Олег, снобируя их, выкатил плечи и, побитый без одинаго удара, потащил ноги вдоль стѣны, вдруг опустившись от усталости на свое привычное мѣсто бывшаго молодого человѣка. На Авеню де л'Обсерватуар нужно было пересѣчь еще один рубеж двух мiров, стык двух физиологій, потому-что человѣк с бульвара Монпарнас совершенно другой породы, и моды, и жесты, и голос другой, то Франція, самоувѣренность живой почвы, от которой, как ни рвись, все равно останешься по пояс в здоровом тысячелѣтнем перегноѣ костей отцов, а то голый человѣк, вырванный из земли, как мандрагора, смертельно остроумный, апокалиптически одинокій.

Вдали огни Монпарнасса уже освѣщали вечер. Олег ожил и сердце его забилося. Старые друзья — старые счеты — старыя самолюбія — старыя униженія и со всѣми, рѣшительно со всѣми у Олега были сравнительныя, невыясненныя отношенія. Всѣм им он в свое время или перехамил или перекланялся, на тѣх сердился, стыдился этих, потом еще путалось другое желаніе покетничать своим загаром, здоровьем и вновь открывшимся ему счастьем дикости, пустыни, земли, так-что Олег сейчас, мгновенно забывши газетную бумагу и окурки в холодной водѣ дешеваго дачнаго мѣста, на-



врет цѣлую Джеклондовско-Африканскую поэму. Что-то напряженное, рѣзкое, невнимательное к собесѣднику уже кипѣло в нем, он шел к товарищам, вновь уже провалившись незамѣтно в знакомый, скучный невроз, «кто кого пересмѣет», уже заранѣе с тоской зная, что заговорит, перегадит всѣх и вдруг очнется среди всеобщаго упрека, скуки, совершенно потеряннаго с ними контакта, хотя встрѣтят его радостно, как своего.

И дѣйствительно, едва обошел веранду Ротонды, такую знакомую по давнишним художественным неудачам, Олег уже издали сквозь открытыя окна Наполи увидѣл своих элегантных негодяев, Черносвитова, Околишина, Свѣтобаева, и они искренно обрадовались ему, великодушно грустно спрашивая о морѣ, когда он дѣланно неуклюже, по бандитски, в раскачку копируя какіе-то старые американскіе filmy, подошел к ним, но не успѣл ни расхвастаться, ни обидѣться ни на кого, потому-что почти одновременно, но с другой стороны подошли к столу Алла Рашкавадзе, Гуля Барк и Катя Муромцева, три подруги или вѣрнѣе двѣ подруги, Гуля и Ала, сутулящіяся молодыя женщины, одѣтыя во все чужое, но элегантно, неискренно, но остроумно насмѣшливыя, и Катя, новый человек на горизонтѣ, залетная птица, простоватая, высококомѣрная, купеческая дочь из большеглазой, широкобокой, крѣпко за жизнь держащейся породы.

Всѣ встали и принялись церемонно цѣловать руки, чего Олег растерявшись сдѣлать не посмѣл, но с удовольствіем забрал в свою толстую голую до плеча лапу холодную, влажную руку Алы. Вот это дѣвушка, подумал он, худыя руки, на лицѣ какое наслажденье, по-

лураскрытая худая рука спящей Алы. Это тебѣ не Таня, медвѣжья лапа.

Разговор начался с жалоб на духоту и на сердечную боль от близкой грозы, а та, легка на поминѣ, вдруг тяжело прокатилась громом по крышам домов.

«Смѣшно, сказала Гуля, гром шумит, как будто дѣло дѣлает, а дождя все нѣтъ».

И как будто ей в отвѣтъ тяжело, сначала рѣдко, потом сплошь забили по широкому тенту крупныя капли дождя, мостовая сразу потемнѣла и гарсоны в спѣшкѣ, морщась, стали заносить стулья, а сидѣвшіе слишком близко к окнам пересаживаться к стѣнѣ. Дождь теперь так шумѣл, что трудно было говорить. Ала, по грузински злобно тараща глаза, закурила папиросу, и вдруг ночь освѣтилась ярким, дивным свѣтом и с неописуемым треском, рванувшим уши, молнія упала, гдѣ-то неподалеку в сторону бульвара Распай. Олег вскочил и бросился смотрѣть, хотя неизвѣстно на что. А когда вернулся он, Ала и Катя упѣли уйти куда-то, почти со всѣми остальными, и только Гуля Барк мрачно продолжала курить, негромко говоря, что-то Черносветову, загорѣлому сорокапятилѣтнему сюрреалисту, с лицом испанско-индѣйскаго пастора, в желѣзных стариковских очках, и тот, не оборачиваясь, вѣжливо поддакивал, издавая нечленораздѣльный звук. Этот Черносветов, словако-испано-русско-французско-раскольниче-антропософскій одиночка, был послѣдним открытіем компаніи, позднѣйшим, но едва ли не самым сногшибательным. Но скоро тот, как старій опытный волк, хорошо защищенный дикостью своего благородства—отщепенца—встал и по старинкѣ церемонно простился, подав руку дощечкой, может-быть потому что

чувствовал, что именно сейчас он может быть нужен, что Гуля, выпав из компаниі, на мгновение за него зацѣпилась. Так-что против воли Олег и Гуля, оба сядься на кого-то и на что-то, остались друг против друга, старые знакомые, не знали за что ухватиться, чтобы хотя бы для приличія заговорить, но обоих трогало и раздражало это смущеніе и сбитость с толку, но только что он рѣшил наконец заговорить — вернулись Ала и Катя со всей бандой, подозрительно вдруг повеселѣвшей.

Олег, идем в кабак к цыганам.

Да вѣдь это не настоящіе.

Не настоящіе, но поют почище настоящих.

В кабакѣ на рю Монпарнасс, необъяснимо и неприлично названном Кабарэ о Флер, едва вошли, глухой и частый ритм электрическаго граммофона пробудил в Олегѣ какую-то давнюю счастливую и грубую ноту. «Ага, начинается парижская жизнь, распронагони его мать». В тѣсном, карнавалено освѣщенном помѣщеніи, сбившись в проходѣ, толкались, дурачились французскіе молодые люди, переодѣтые матросами, они танцовали промеж собою, подражая негритянским тѣлодвиженіям, центр которых, однако, был перенесен с передняго на задній план. Потом свѣтъ потух, зажегся прожектор и в бѣлом лучѣ его появились накрашенные и фериически четкія лица русских пѣвцов, что, помолчав мгновенье, вдруг всѣ сразу привычно по кабацки ожились, заплѣли знакомыми, чуть церковными голосами:

Милый друг, побывай у меня,  
Ты бывай, бывай, бывай у меня.

Олег к Катя очутились рядом между окном и высокой стойкой, и послѣ первой же рюмки между ними возник знакомый, но всегда новый электрической контакт, мгновенно изолировавший их от всѣх других, которые по своднически, то-есть чисто по монпарнасски улыбнувшись, повернулись в другую сторону. Катя щурила свои длинные цыганскіе глаза без рѣсниц, и щеки ея ярко и видимо против ея воли горѣли от выпитаго спирта.

Дорого здѣсь, сказал Олег, рискнув повести разговор на свой дѣланно босяцкій манер. Выйти бы охолстить по одной в бистро, а потом вернуться потанцовать.

Против всякаго ожиданья тон этот понравился Катѣ, и она согласилась, и в тусклом кафе на Эдгар-Кинэ симпатичные и низкорослые французскіе матросы, на этот раз уже совершенно настоящіе, сообщнически посмотрѣли на него и уже с ними незамѣтно выпили они и расплескали по пяти рюмок сногшибательнаго кальвадоса. В ушах Олега загудѣло, возвращаясь он не слышал собственных шагов, но зато они говорили наперебой о лѣтѣ, о Даніи и еще о чем-то, что казалось необычайно смѣшным. По их возвращеніи кабак показался другим, болѣе тѣсным, болѣе ярким, ярким и темным в одно время, и в него они, как в родной дом, вернулись.

Дайте, да ходу, ходу пароходу,  
Натяните да паруса.

Я за то его любила, за кудрявы да волоса.  
Ах, да вы пейте, да пейте иль не пейте,  
Все равно тоска сгрызет.  
Коню гриву вейте иль не вейте,  
Все в канаву да завезет.

Олег теперь уже тяжело дышал и начинал быть опасен в смысле скандала, хотя пьяный, как на зло, сильно слабл и его именно тогда ничего не стоило побить, конечно, человеку его спортивного уровня. Освѣщеніе опять мило по балаганному перемѣнилось зажглись красныя лампы и они начали танцевать, вдруг смирѣв от необычайнаго этого факта оказаться в объятіях друг друга, вдруг помолодѣв и изо всѣх сил заботясь о напускном благообразіи, и Олега, как иногда особая культурность ума, поразила необычайная музыкальная податливость этой красивой, крупной, молодой женщины; при быстром движеніи на поворотах все сливалось в один разноцвѣтный туман, все было одновременно и чрезвычайно пріятно и совершенно безразлично сквозь сладкій почти приторный запах Катиных волос.

Умное, тяжелое тѣло, как хорошо, что существуешь, думал Олег, танцуя. И само без науки знаешь, кого тебѣ любить, а вѣдь умом, сколько ни думай, ничего не поймешь, не то всѣх, выходит, надо любить, не то никого. Как воплощенная живая музыка в движеніи, ты то замираешь на четверть мгновенья, то плавно идешь назад, то с разгону поворачиваешься, покачиваешься, наклоняешься, и сколько смысла в грозном остерегающем сіяніи твоих глаз. Когда-то Олег чуть не задохнулся от удивленія — благодарности, прочтя у Геге-

ля, что тѣло есть воплощенная, явная, реализованная душа; значит не обуза, не завѣса, а совершенство и роскошь творенія, злое, оскаленное, дрожащее, как струна, когда над ним среди хлопанья флагов и рева толпы вот-вот щелкнет, ахнет выстрѣл стартера, и тогда нужно будет, в мгновенье выпрямившись, всю душу, все сердце, всю жизнь вложить в первый отчаянный бросок, чтобы грудью, зубами, лицом вырваться вперед, потому-что все в состязаніи зависит от этого перваго рывка или то же тѣло легко, тяжело, привольно, с шумом дышащее, выдыхающее воздух под воду, когда, привыкнув к ритму, привычным движеніем выкидывает оно перед собой руку, всѣм существом, как лента, как рыба, поддаваяь вперед; тѣло плывущее, тѣло танцующее, тѣло любящее со сжатыми зубами; уже не хранящее, не берегущее себя, счастливо, злобно, храпящее, борющееся, побѣждающее, теряя голову слабѣющее, освобождающееся вдруг. Как наивны тѣ, кто хотѣли бы имѣть другое тѣло, не находя себя в себѣ; и прямъ они или не знают своей красоты или не подозревают безобразія тайнаго своей души.

Забыв о своем отдѣльно-бытіи, забывшись Олег и Катя танцовали, как будто они в самом дѣлѣ были одним существом. А когда они возвращались к стойкѣ и поравнялись с хорошо подстриженным, гладким, похорошѣвшим от водки лицом Околишина, этого еврейскаго лорда без гроша в карманѣ, он с слегка общиически покровительственным видом, но так умѣло, незамѣтно сказал Олегу:

Поздравляю, только не радуйся слишком скоро.

Но Олег не внял предупрежденію, сердце его, со всѣм его золотом, скопленным, тяжелым, невыносимо

таяло, раскрывалось, тратилось вдруг на этого неизвѣстно откуда, на радость ли, на горе ли взявшагося, невысокомѣрнаго, новаго человѣка, который теперь танцовал с каким-то молодым метеком, то-есть французом в терминологіи Олеговой, высоко до деревянности, до комизма, но элегантно носившаго лакированную голову. Катя вдруг остепенилась и пришла в себя в руках дисциплинированнаго кавалера и цыганское чернокрылое, чернобровое антично-коровье лицо ея теперь совершенно ничего не выражало, и вдруг Олег поразился как бы сквозь сон, до чего она была хороша в эту минуту, когда, выставив назад красивую, полную ногу чуть неправильной формы («Ага, кавалеристка и ты»), кончавшуюся такой безупречной горбатой ступней в тонкой туфлѣ, чуть замѣтно, ни много, ни мало, а ровно сколько нужно, касалась носком оранжеваго пола сзади себя и Олег не мог не восхищаться даже ея партнером — «Муштрованный сукин сын, с каким удовольствіем je lui aurais cassé quelque chose» — но вмѣстѣ с тѣм смутно, глухо, позорно чувствовал, до чего Катя привыкла, привычна, естественна в хорошем обществѣ, для него совершенно недоступном, муштрованных, сдержанных, англазированных собачьих дѣтей, которым он так завидовал, и до чего ему трудно будет с его ненавистной ему широкой натурой не понравиться ей — «c'était déjà fait» — а войти в ея жизнь, удержаться около нея. В эту минуту он ощущал себя всклокоченным босяком, и ему хотѣлось не то драться, не то проснуться, уйти, раскрыть своего Гегеля. Да, а Гегель, подумал он и понял, что и Гегель ничего здѣсь помочь не может, ибо только увеличивает осатанѣлость, остервенѣлость его и так обычно некстати и на горе

•

себѣ являющуюся рѣшимость. Но горькія мысли вдруг оборвались, потому-что Катя бросила кавалера, подсѣла и, взяв Олега за руку, «ну, тяжелая голова, замрачнѣла, спѣлъ бы лучше что-нибудь, говорят, поешь хорошо» и вдруг, подурнѣвъ и раскраснѣвшись, но все таки успѣвъ подмигнуть ярко розовому, но попрежнему безупречному Околишину «мол насвистался мой поклонник»: вдруг подурнѣвъ, засмѣялась, показывая неровные зубы, неловко прикрыла их фантастически бѣлой рукой, стала вдруг до того по братски, по бабьи, по исподнему мила, что Олег понял, что не на день, а на долгое время пропала его голова, в то время как снова ожившій хор пѣлъ теперь:

Стаканчики граненые упали со стола.

Упали не разбились, разбилась жизнь моя.

Олег теперь все больше пьяно мрачнѣлъ и невѣдомо откуда возлѣ него оказалась Ала, худая, глубокомысленная и мило безпомощная широкоокая грузинская княжна.

— Слушай Алик, ты опять и пьян, и мрачен, и влюблен, кромѣ того держу пари, что ты сейчас будешь драться. А Олег неожиданно серьезно дѣловито, не до шуток просто:

— Кто она, Ала, откуда взялась...

— Купеческая дочь из Даніи, тебѣ под стать, только ничего у тебя не выйдет, потому-что не умѣешь ты фасон держать, как у нас в лицѣ говорили. — Олегу показалось, что это о нем поет хор:



Прощаюсь ноне с вами я, цыгане,  
И к новой жизни уйду от вас.  
Вы не жалейте меня, цыгане,  
Прощай мой табор, пою в последний раз.

«Как хочется хоть раз, в последний раз повёрить.  
Не все ли мне равно, что случится потом... Любви  
нельзя понять, любви нельзя измерить, а там на дне  
души, как в омуте ручном»...

Да конечно, не все ли равно и не минуло ль в море  
то яркое облако, эта память о лётном просторе...  
Ночь грозная смотрит в окно, ты забудешь и счастье  
и горе, ночь и дождь, и не все ли равно, как все это  
промчалось давно.

Катя сидит на полу, покрывши кончики туфель тем-  
но-зеленой шелковой юбкой, старым, в крови переда-  
вавшимся жестом держит гитару. Уста ея едва шеве-  
лятся, голос ея еле слышен... Что она поет, напевает,  
говорит, уставившись куда-то в дальнюю стену пустой  
комнаты широко открытыми глазами. И здесь среди  
бллой современной мебели, разбросанных книг и пустых  
бутылок, бумаги, чемоданов; в этом уже покинутом  
жилье, в хаосе переезда Катя на ковре спокойная,  
родная, безконечно русская, едва касается пальцами  
гитары.

«Не надо ничего, ни поздних сожалений, ни равно-  
душных слов, былого не вернуть; лишь хочется еще  
на несколько мгновений в ручную глубину без страха  
заглянуть»...

Да, Олег, без страха. Пыль клубится над жаркой  
землею, степь без края погасла, устало, еле слышно

пыльной тоскою пѣснь в степи у костра погасла. . . Солнце землю спалило огнем, все свалилось во сны без отрады, только голос над мертвым костром напѣвает по древнему ладу. . . Жизнь промчится, а жить не успѣть, что ж, помолимся Богу, с гитарой будем пить, будем ждать, будем пѣть пѣснь о счастье, несущемся даром. . .

Медленно сквозь пьяную душу Олега несутся звуки, только что, вдруг замерши, вдруг присмирѣвъ, они долго и еле слышно говорили о снѣгѣ, о толщинѣ деревянных стѣн, о ночниках, свѣчках, керосиновых лампах, о подоконниках, на которых опершись на локти лежат подростки. Безконечно долго слѣдя, как рано на свѣрѣ кончается день, и удивительно торжественно, удивительным благообразіем раскаянья, опрощенія, возврата звучали эти слова в тишинѣ предмѣстья, в глубинѣ ночи.

Дома, куда Катя, пересмѣявшись и перехулиганивъ, пьяно-серьезно пригласила Олега, по русски лукаво, отчаянно, прямо глядя в глаза, и он понял, и у нея дома ни разу не подсаживался, не приставал, не пытался ее обнять, развалясь курил в креслѣ, пьяно высококомѣрно философствовал, грустил, слушал. . .

«Проходит солнца луч сквозь замкнутую ставню и в нем, как от вина, кружится голова. . . В ушах еще звенит твой разговор недавній, как то рѣчное дно, темны твои слова». . .

Как будто издалека, из другой комнаты долетает, доносится голос, шопот, причитанье, нытье, напѣвъ. Как из міра иного, из жизни иной, Божественно успокоенной, привольной, родной, совершенно лишенной вѣч-

наго его обезображивающаго усилю, напряженія, изувѣрства, отчаянія, страха. . . Жизнь без религіи, нѣтъ, вѣрнѣе с Церковью и свѣчами, но без вѣчнаго его злого мистическаго сумасшествія одинокаго, пещернаго, раскаленнаго, Вавилонскаго пыла недостижимой святости. . .

Ах лѣса, лѣса, овѣйте, шумом своим успокойте изувѣрскую дикую душу мою. Ляг во тѣмѣ и внимай, как неспѣшно поет соловей. . . Потеряй свою душу в высоком сосновом раю. . . Слишком долго ты рос на вершинѣ, от свѣта ты сходишь с ума. Раскаленное солнце пустыни сжигает широкія плечи. . . Тихо всходит луна, над болотом устала сосновая тѣма. . . Ты вернулся, ты спишь, от зари и земли не далече. . .

Ах Катя, Катя, домой с небес, из раскаленнаго ада святости, жестокости, спорта и книг на землю в смиреніи труда, усталости и физической любви. . . Ах Катя, как скучает дьявол-подвижник на своих Вавилонских горах, о землѣ, о травѣ и о бѣлой круглой тяжелой груди своей родины. Но дверь вдруг открывается и в дом невѣдомо откуда и как вваливаются Ала, Черносивитов, Гейс, Околишин, Черпаходов и оскорбленные, внезапно разбуженные, Катя и Олег поднимаются с мѣст, и Олег уходит, ошалѣвъ от любви и обиды. . .

Праведность. . . Сидѣніе на стулѣ, который каждую минуту исчезает из под ног, как будто его изнутри выѣли термиты. А тогда мгновенно задом об землю, затылком об кофейную стойку. . . Покой в Богѣ, вот что почти никогда недоступно подвижнику. . . И все-таки грѣх знает свой покой; напр. Ассирійскій покой длин-

ноглазых женщин из кафе, которыя все утро проводят за тщательным омовеніем, одѣваніем, раскрашиваніем своего тѣла. За телефоном или в кровати за иллюстрированным англійским журналом, но и этот покой кончается безпокойством: ожирѣнія, гонореи, скуки. . . Или тогда твой металлическій покой без возврата о, Безобразов, стеклянный ангел над золотой колесницей. . .

Покой в Богѣ, покой весны. . . Бог примиряется с человеком, когда тот откупается от него обрѣзаньем, женьтибой, капитуляціей, охлажденіем мистической опасности, гениальности, одиночества, дѣтства. . . Потому что дѣвственников Он сам преслѣдует, терзает Своей непосильной любовью. . . «О прекратись, исчезни, погасни, стонала Тереза в мистическом обоморокѣ, или я умру, сгину, не выдержу и душа моя оторвется от тѣла».

Вѣчная внутренняя борьба, неожиданныя самыя глубокія, самыя горькія паденія просто от усталости, переутомленія слишком долгих молитв, до звона в ушах, соленого, кроваваго вкуса во рту и свинца-стекла в переносицѣ. . . Долгіе, бѣлые дни без храбрости, без счастья, без сил, совершенно без благодати над недостроенными развалинами потерянной, недооцѣненной, небреженіем проигранной, недоигранной внѣшней жизни, проклятіе раскаленной дороги, свинец в руках и в сердцѣ—аскеза, благодарю вашу душу, мать. . . И вдруг страшно ослабительно, до страха внезапно, раскрываются двери в глубинѣ сердца, с той стороны двойной воронки и нестерпимая, невыносимая слава, оглушительныя слезы счастья, присутствія, физическаго присутствія Бога, принадлежанія, преданности, проданности, обреченности Богу, когда еле успѣваешь крик-

нуть, не успеваешь зажмуриться и сердце уже рвется, горит, разрывается, разрушается, тает, течет, исчезает в потокъ Божественной любви, а когда наконецъ глаза, изъѣденныя слезами, открывались и Олег, всклокоченный, грязный, с тяжело бьющимся сердцем. слѣзал с дивана. . . Жизнь сперва представлялась невозможной, но потом, поѣвъ, побрившись, он вдруг оживал к болѣзненно-яркой, безсмысленно-интенсивной жизни Монпарнасса. В слишком широко раскрытых, слишком свѣточувствительных глазах мѣр казался полным огня, каждый дом спящим на солнцѣ, притворяющимся добродушным чудовищем, каждый угол, каждое закатное облако, каждый фонарь казался одушевленным существом, притаившимся ангелом, демоном, огненной бабочкой, медленно полыхающей в сумерках. . . При встрѣчах дикая больная радость общительности вырывалась из сердца. . . Олег так много говорил, так хвалил, восхищался. галдѣл, что у случайнаго встрѣчнаго создавалось какое-то болѣзненное, неловкое ощущеніе, так что тот спѣшил поскорѣе от Олега убраться. . . От одного человѣка до другого, от столика к столику, иногда смѣша до упаду, иногда страша до отвращенія, Олег перешумит, пересмѣется, переволнуется и, еле живой, с бьющимся на лѣстницѣ сердцем, доберется, повалится (и это он, атлет и пловецъ), рухнет на продавленный диван и, о ужас, не сможет заснуть. . . Горя сумасшедшим болѣзненным блеском, безсвязные образы будут нестись перед его глазами, подушка будет слишком низка, все тѣло будет чесаться, и он поминутно будет вскакивать, палить свѣтъ, скрежеща зубами искать невидимых блох. . . Потом, наконецъ, собравшись с силами, заставит свои мысли остановиться, весь сжавшись,

уоставившись, замрет в непроглядной тьмѣ, и тогда новое бѣдствіе, галлюцинаціи, кошмары на яву обступят его. . . Мебель начнет двигаться, платье на вѣшалкѣ примет форму повѣшеннаго человѣка, что-то безформенное, полудеревянное, полубумажное закопошится на лѣстницѣ, и так до разсвѣта, пока он вдруг не провалится в безсвязные, унижительные сны.

Олег уже два дня не медитировал. Тяжкое, мутное оцѣпенѣніе счастья, вина, Катинаго присутствія, превратили его жизнь в поток картин и мрака, среди которых он не может проснуться. Плывет уносимый горячим теченіем, вѣчно спѣша, волнуясь, стирая носки, бредясь, цѣлуясь с тяжелой головой, посреди мечтаній: о выигрышѣ в національную лотерею, о такси, засыпает и долго не может проснуться или сразу вскакивает, вспоминая, не пропустил ли свиданія.

Ошалѣвъ от объективности, вошедшей в жизнь, от чужого присутствія в своем, от внѣшняго отзвука, о котором он так долго выл, а теперь почти жалѣл. . . Часто, возвращаясь домой, он с ненавистью смотрѣл на свои блестящіе башмаки, напоминающіе ему, что он цѣлый день валялся на диванѣ или на постели, цѣловал, нюхал, ощупывал молодое, живое, опасное тѣло. Архитектурная симметрія его одиночества была совершенно разрушена, и он вѣчно, с гнусным, подозрительно наглым видом, куда-то спѣшит. . . «Ах остаться бы дома». . . вдруг ревѣл он в бѣшенствѣ, «не бриться, ходить в неглаженных брюках» — в сортирѣ грустил, пѣл, свистал (своя жизнь, скрытая от всѣх).

. . . . .

Дни смѣняются днями. У каждого имѣется разсвѣт, котораго никто не видит, кромѣ бродяг и пьяных, нехотя щурящихся на небо. У каждого дня имѣется вечер, который неуловимо начинается в цвѣтѣ читаемой страницы, медленно переходящем из желтаго в розовый, голубой, сѣрый, черный — тогда почему-то не хочется зажигать свѣт, чтобы не путаться, умирая от грусти, между двух огней, как нѣкогда Олег между Аполлоном и Терезой. Неподвижно, с книгой в руках, темная личность смотрит в пространство, обдумывая сложную и горькую географію своего одиночества, гдѣ и через какую границу ему через него попытаться перейти, чтобы вскорѣ насильственно и с позором быть вновь в него водворену, подобно административно высланному, принудительно возвращаемому в исходную тюрьму.

Весь этот, такой знакомый, скучный горный ландшафт чудесно исчез вдруг с Олевыхъ глаз. Его замѣнило вѣчное ожиданіе, неустанная тревога и боязнь пререпутать свиданіе, мѣсто и время встрѣчи, какая-то занятая, кокетливая беззаботность-озабоченность в разговорѣ с товарищами, как будто нашел службу или получил наслѣдство. Особенно счастливыми были сборы Олега, когда, неестественно оживившись и вынырнувъ вдруг из книг, в которых он по медвѣжьему обростал волосами, пух и начесывал брови до лысин, ковырял в ухѣ и скреб голову, вдруг из міра призраков, из внѣвремени, одним движеніем выплывал он в настоящій день, мыл ноги, что рѣдко обычно дѣлал, стоически любя грязь, запах кала, пота, табаку, мочи; стирал и зашивал носки, вытаскивал из под тюфяка отлежавшіеся и еще теплые брюки, брился, тер до красна мор-

ду грязным полотенцем и помолодѣвшій, похорошѣвшій, на когтях выкатывался на улицу, расправляя плечи в осенней сырости, еще лѣтній, загорѣлый, живой, легѣл, шел все время себя сдерживая, к Катѣ. Если бы он себѣ позволил, он бы бѣжал всю дорогу и только потому не дѣлал этого, что боялся неприлично вспотѣть и переволноваться, ибо для него, и так постоянно неестественно возбужденнаго и пьянаго без всякаго вина, самым аванжным был именно первый момент встрѣчи, когда лицо еще сохраняло так идущую диким натурам неподвижность, замороженность улицы, холода, одеколона и смущенія. Катя жила в отелѣ на бульварѣ Монпарнасс, и он по дорогѣ проходил мимо двух пар часов — один в глубинѣ гаража на Обсерватуар, другіе — над зданіем бани, и вѣчно они показывали слишком мало времени, и надо было еще крутить по кварталу, нагоняя минуты, что давалось с трудом. Наконец послѣдняя оглядка на себя в зеркалѣ (вредная, между прочим, ибо знал он, что увеличивает застѣнчивость), и Олег, напрягши всѣ мускулы, как боксер, встающій с своего табурета, входил в подъѣзд. Этот напряженный, отчаянный вид дѣлал его сугубо подозрительным в глазах хозяина, сквозь котораго приходилось каждый раз пробиваться чуть не моральным насиліем, и вот уже он на лѣстницѣ. Потому-что хозяйин и хозяйка были всецѣло на сторонѣ Салмона, приѣзжавшаго всегда на автомобилѣ и умѣвшаго разговаривать, и Олег еще вчера наткнулся на характерное проявленіе этого предпочтенія. Катя гдѣ-то закрутилась и опоздала, Олег походил под дождем, потоптался под тентом книжной торговли и, вернувшись, сквозь стекло двери увидѣл записку, нацѣпленную на крючок от ключа



ча, входя не удержался, чтобы не отогнуть пальцем и прочесть: «Mr S. ne viendra pas ce soir». Олег успѣлъ уже подумать, что этот сукин сын сам о себѣ так величественно в третьем лицѣ написал, когда на него налетѣлъ хозяин с угрожающим: «Qu'est ce qu'il y a?» Олег смирился и ушел, но зато Катя его вознаградила, нарочно громко шутя перечитав записку ему при хозяйинѣ, и, так продолжая посмѣиваться и помахивая запиской, поднялась по лѣстницѣ.

Эту встрѣчу, когда Катя одѣвалась при нем, он вовсе не оцѣнил тогда, но теперь, когда больше ея не видѣлъ и не мог видѣть, малѣйшія ея детали отчетливо до мучительности оживали перед ним. Вспомнил он, как Катя душила кончиком пальца губы свои и мочки ушей, все время лукаво, тревожно, в упор смотря на него в зеркало, и как он безпомощно гордо удерживался или попросту все не рѣшался обнять ее и поцѣловать, переминаясь и не цѣняя своей силы тогда заставить ее опоздать к Сальмону. И все-таки она опоздала почти на час, опоздала из за слез, которыя вдруг потекли, накатившись из-за края ея огромных глаз без рѣсниц и тогда сурьма расплывалась по щекам и все надо было начинать сначала.

Перед самым отходом, в приготовленіи къ которому было все отношеніе Кати къ Олегу (отношеніе опустившагося человѣка, двойственное из за слез, опозданія, чуть прикрытых насмѣшек над запиской и того, что она так тщательно одѣвалась, красилась, душилась, стоя у ночного столика и с усиліем глотая из горсточки какую-то шоколадную крупу, от одного вида которой Олегу становилось больно на сердцѣ), Катя смѣясь неизвѣстно над чѣм, молвила:

«Каким это вы жалобно гимназическим голосом это сказали: Ах уже надобно идти». А он, Олег мгновенно накупившись и приготовясь к отпору:

— Вам не нравятся жалкіе голоса.

«Нѣтъ, я люблю такой голос. Так спрашивал всегда тот бѣлобрысый из универнитета, котораго я любила»... Олег ожил, но это и была его послѣдняя удача, которую он еще смог оцѣнить. Мука разлуки с Катей уже туманила ему голову и он плохо соображал, зачѣм ей понадобилось тащить его до самаго кафе дю Дом, а главное еще болѣе, зачѣм ему было туда входить вмѣстѣ с ней, хотя уже нѣсколько раз он начинал прощаться. Не понял он тогда может быть самой большой своей побѣды, а именно, что Катя хотѣла, чтбы Сальмон увидѣл его. Хотѣла нарочно столкнуть их на узкой дорожкѣ, защититься Олегом и ожить к гордости счастья.

Сегодня же Олег, поднимаясь по лѣстницѣ, вспоминал другую яркую до муки минуту. Конечно, Олег переделикатничал. Потом вспоминая невесело скажет: «*par délicatesse j'ai perdu ma vie*». . . Десять раз Катя ждала, что он потеряет голову, поцѣлует, обнимет всюю тяжелою своей теплотой, но знакомство с Безобразовым и Танины дни не прошли для него даром. Олег то сіял нарочно счастливым холодным теплом, то дѣйствительно смутно боялся чего-то непоправимаго, аскетически страшился паденія в горячій омут, и это было грубо. Катины руки вдруг разжимались, что-то злое, кокетливо скопческое появлялось в его неуклюжей усмѣшкѣ, но зато во снѣ свѣтъ ея тѣла раскрывался всецѣло и он просыпался, весь дрожа от счастья, как будто бы вдруг с солнцепека попав в темную комнату, ничего почти не видя и не понимая в первую минуту.

Снился ему какой-то низкій деревянный дом, гдѣ-то среди ярко освѣщенных песков, поблизости, но не в виду моря.

Он, Катя и Таня разсматривали какія-то загадочныя символическія картины, картонки, карты, которыя от их вниманія оживали и начинали двигаться.

Потом всѣ трое, радуясь тому, что это возможно, совершенно голые шли по какой-то узкой оранжевой дорогѣ, прорубленной в скалѣ, ярко и ласково смѣясь и так по скалистым ступеням сошли на берег.

Потом в комнатѣ, обитой бѣлыми чехлами, в ярком сіяніи сада, Катя лежала на Олгѣ, наполовину оставаясь все-таки на воздухѣ, и все его тѣло пило, вбирало в себя ея присутствіе, потом еще другіе сны.

В тот вечер, который Олег вспоминал на лѣстницѣ, поднимаясь за Катей и жадно всматриваясь в тяжелую грацію ея ног, как мускулы на них напрягались при шагѣ и как, подымаясь на ступеньку, они обнажались, как двое работающих древних божеств, немного болѣе обычнаго, в тот вечер они уже долго сидѣли обнявшись, все же не рѣшаясь откровенно цѣловаться в уста, но со страхом счастливо нѣжничая и глядя друг друга. Катя наконец отлежала руку, откинулась, закурила папиросу, запрокинув голову и выпуская дым къ потолку. Синяя охотничья куртка ея сбилась, задралась кверху и между ней и старой шелковой юбкой блеснула безпорочно бѣлая, удивительно гладкая полоса тѣла. Рука Олега, дойдя до этого мѣста, остановилась как бы обожженная, но через нее по всему ея тѣлу разлилась горячая яркая радость какой-то несбыточно горячей откровенности. Катя поняла и замерла в тревогѣ, на-

дѣясь, боясь его предприимчивости, но Олег снова не рѣшился продолжать в том же духѣ и Катя, осмѣлѣвъ и передвинувшись, вся выгнулась, дугой свѣсивъ ноги с края кровати и слегка раздвинув их. Она отвернула голову и сказала по цыгански сквозь зубы: «Ах я должна была бы совсѣм не так с Вами обращаться», прямо намекая на то, что они теряют счастливое время, но Олег, так давно уже ведшій насильственно цѣломудренную жизнь, весь похолодѣлъ от неожиданности и испугавшись, что он не возбудится, как слѣдует, дѣйствительно болѣзненно нервно остыл совершенно.

Катя встала, вдруг постарѣвшая, с лицом, налитым кровью, она вообще слишком легко краснѣла и тонкая ея кожа быстро наливалась кровью от счастья, от лжи, от злобы. Она пила воду, глотала шоколадную крупу, курила и щурилась.

Успѣем еще, успокаивал он себя, не зная, как это часто бывает, что это и были самые счастливые их дни, по дѣтски недооцѣнивая и пренебрегая ими, не въдая, что завтра скоро Таня снова выпустит свои когти и счастье его с Катей запутается в ссорах.

Между зеркалом и чемоданом ничком лежит Катя, совершенно одѣтая, даже в пальто с милыми его мѣховыми эполетами. Быстро закрыв дверь, Олег скинул пальтишко вмѣстѣ с пиджаком, подался к ней и легко поднял ее с земли, со страхом почувствовав на руках мягкую и дорогую тяжесть ея спины и бедер. Положил на кровать, цѣломудренно одернув юбки, вдруг на кровати Катя очнулась, быстро невнятно забормотала что-то, тяжело отсутствующе осмотрѣлась, узнала Олега и, вдруг протянувши к нему руки, притянула его к себѣ и обычно такая гордая и неприступно-рас-

четливая, головная, спряталась головою к нему в свeтер и, отчаянно прижимаясь к нему, зарыдала.

Долго, долго бормоча и сопя носом, Катя плакала, потом устала, слабо повела головой и задремала, клюнув носом рядом с Олегом, мучительно отлежавшим руку, не смѣвшим двинуться. Из ея бормотанья он узнал, что они встрѣтились вчера с Сальмоном в Кафѣ дю Дом, и тот, чувствуя недоброе, повез ее пить, что выпивши они, наконец, объяснились, и что она впервые откровенно с ним говорила и что он вдруг перестал хамить и задаваться, съезжился, подался и заговорил о том, что ему уже тридцать пять лѣтъ, что он не хочет губить ея молодости, сразу перевернув сердце ей, наивно недооцѣнивавшей свою власть и ожидавшей ругани, грубости, может-быть даже драки. Что послѣ этого он по товарищески напросился к ней наверх и что сперва все было очень хорошо, а потом опять все было тоже самое, послѣ чего она ревѣла, до пяти часов не спала, утром же одѣлась, чтобы идти по дѣлу, и вдруг завертѣлось все в головѣ.

Время шло. Плача, сопя, бормоча во снѣ, Катя все крѣпче пристраивалась к Олегу, тычась в него носом, как медвѣжонок, ища защиты, и сердце Олега таяло, рвалось, сопѣло, бормотало от нѣжности, но было ему тревожно, не очнется ли она вдруг и не разсердится ли на себя и на него за свою слабость. Однако Катя очнулась совсѣм по другому. . . Засмѣялась, даже напудрилась, шутя над собою, и послала Олега в бакалейную лавку, но до этого было еще одно небольшое, но мучительно счастливое словесное происшествіе. Олег, согрѣвшись около Кати, скинул свой морской свeтер, не забыв со спортивным кокетством закрутить рукава без-

рукавки до самага толстаго плеча, обнажив свои перетренированныя руки. Катя прильнула к этим рукам лицом, закрыв глаза, и вдруг помолчав сказала: «К .к хорошо, что у тебя такая гладкая коричневая кожа. . . Страсть не люблю волосатых рук, черную спутанную шерсть на руках. . . Бррр. . .» и вся бользненно, не открывая глаз, содрогнулась от отвращенія, и Олег понял, что длинная черная борода на бѣлых и вѣроятно скелетических руках росла именно у Сальмона и что, это ее вспомнив с отвращеніем, Катя прижалась к нему, Олегу. . . Торжество его в эту минуту над соперником было полное и, как всегда в невыносимых случаях, он внѣшне пропустил эти слова мимо ушей, ревниво схоронив их в сердцѣ.

В итальянской бакалейной колбасной Олег закупил сосисок, пива и квашенной капусты с салом, зная чавѣрно, что всю эту убоину он как вегтеріанец ѣсть не будет, но это его не трѣгало, ибо как здоровый человек он от волненія забывал совершенно о ѣдѣ и снѣ.

Платя Олег не преминул жалко пококетничать перед кассиром, независимо извлеки Катины сто франков, хотя и показав этим самому себѣ, что в эти сказочные дни его и Катины деньги казались общими. Все же идучи на свиданіе, Олег старался хотя бы папирос купить на свои, чтобы хотя бы спервоначалу не курить, не тратить ея Люки Страйк, хоть их и до страсти любил. Но вокруг денег, вдруг разставшихся их денег, и начало внѣшне разлагаться их счастье, ибо именно изза денег были их послѣднія самыя ядовитыя обиды.

Таща все в объятіях, Олег возвратился в отель и уничтожил хозяина счастливым своим видом. Но наверху выяснилось, что ни ложек, ни вилок, ни стульев

в комнатѣ нѣтъ. Катя прямо на чемоданѣ, на бумагѣ разстала харч. Сѣла рядом на пол (она вообще любила сидѣть на полу, уютно по помѣщичьи покрывъ юбкой даже самые кончики туфель)... Олег неуклюже неудобно сѣл на другом краю (он всегда нервно слѣдил за своими движеніями, стараясь красиво и мужественно вставать, ходить, закуривать, и поэтому часто был до смѣшного неестествен, даже комичен).

Теперь Катя, выплакавъ свое горе, руками ѣла капусту, запивая ее прямо из полбутылки англійскаго пива с тмином, и с набитыми щеками смѣялась милым своим пухлым лицом, сплошь напудренным в спѣшкѣ, так что и рѣсницы побѣлѣли. Как здоровый человек, духовныя муки котораго в концѣ концов выражаются в диком голодѣ, Катя ѣла почти по волчьи, почти жрала, бравиду неряшеством, мужицким манером, в то время как руки ея, бѣлая до фантастичности, громко говорили о ея высоком происхожденіи... Теперь на нее нашла безудержная смѣшливость, она рассказывала анекдоты, пыталась рассказывать все с полным ртом, закрывая его руками, чтобы в спѣшкѣ смѣха не опростать на собесѣдника, наконец до того пережралась, что уже не могла сказать ни единого слова и только неумѣло сдерживалась, чтобы не икать. Что-то скотское, милое, родное, животное, было в этом обжорствѣ для Олега, котораго любовь попрежнему лишала всякаго голода и которому все было равно, кромѣ нея... Отдышавшись, они сѣли снова на кровати лицом к окну, рядом, и окружили себя табачными облаками... Катя пересмѣявшись молчала, тяжелыми масляными глазами уставившись в тусклую, окруженную овальными мірами дыма электрическую горѣлку.

Медленно углы комнаты исчезали в темнотѣ. Окно было совсѣм голубое и там по ту сторону улицы уже желтыми пятнами зажегся свѣтъ в сосѣдном домѣ. Там жили люди тяжелой мѣрной увѣренной жизнью, враждебной обычно Олегу, но сейчас, казалось, он помирился с нею и с дождем. Подойдя к окну, он видѣлъ темныя низкія облака, блестящую улицу, зеленоватый свѣтъ фонаря на углу, но и это было теперь нужно и не щемило сердца. Часы шли. Они почти ни о чем не говорили, вдруг смирившись жить и быть счастливыми; с глубоким удивленіем, благодарностью покоя, переговаривались в темнотѣ. Теперь Катя лежала у него на колѣнях, сама устроившись, сама уткнувшись лицом в его темный черный свѣтер собачьим русским родным жестом, который так любил Олег, и снова ему захотѣлось в Россію, все ледяное европейское барство скатилось с плеч, и он чувствовал себя русским всклокоченным студентом с противорѣчивыми убѣжденіями. И было что-то, в их молчаливом сидѣніи в чужом гостиничном номерѣ чужой страны, от синевы русскаго лѣса, от несказанной грусти поздняго вечера в Сокольниках, гдѣ, часто слишком далеко зашедши со своими лыжами и отбившись от своих, они сиживали на бѣлой смерзшейся снѣжной шапкѣ на скамейкѣ и всматривались в непередаваемую синеву снѣга, кончавшуюся чернотой деревьев. Медленно, высоко над вершинами сосен, летѣли вороны и протяжный неспѣшный грай длительно сжимал сердце и вдруг, издали кажучись свѣтящимся домиком, со звоном по снѣгу приближался трамвай и два красных огня чѣм то сказочным, прятничным, заброшенно грустным, свѣтились над ним.

От куренія пересыхало горло, Олег пил воду, зажи-



гал спичку, снова усаживался, пристраиваясь поудобнѣе, и снова длилось счастливое время с баснословной щедростью, которую дает обеспеченность, молодость, отчаянность. Только иногда гарсон стучал в дверь или вспыхивал и гас свѣтъ. Катя спускалась к телефону, но скоро возвращалась, рассказывая, что переусловилась, наврала, но осталась свободной.

Потом, идучи домой, Олег спрашивал себя, в чем же собственно дѣло и почему порвалась для него связь времен так сильно, что он вдруг совершенно потерял прошлое, почти не думая о Танѣ — кстати гдѣ она — и он радовался, что ему все равно.

Каждый из нас ходит по улицѣ со своей одиночной камерой на плечах и как только остановится перекинуться словом с пріятелем, пруты, как живые, вростают в землю перед ним. За одним столом, как в американской каторгѣ, люди разговаривают из-за рѣшеток, вѣжливо по волчьей сверкая бѣлыми зубами. Но как наивен тот, кто примет эту обходительность за полноцѣнную монету, как быстро ударится он мягкой мордой в невидимые прутья. Ибо у каждого человѣка есть такая предѣльная цѣна, за которую он тотчас же продаст любого товарища (развѣ какаянибудь на свѣтѣ дружба перешибет любовное свиданіе)... Для меня эта цѣна франков пятьдесят, для другого немного побольше, смотря по образу жизни. В Фавьер Олег хорошо понял, что живет в каменном вѣкѣ, что под легким слоем пудры ледниковая грубость жизни выпрастывается на каждом поворотѣ, что можно рассчитывать только на себя или на временно замороженнаго любовью человѣка и ровно столько дней, сколько длится навожденіе. От этого была его новая ставка на физи-

ческую силу, здоровье, образованіе, высокомѣрие, ибо наглая замкнутость казалась ему честнѣе, вѣжливѣе неосуществимой любезности и в ней ему чудилось больше чувства первороднаго грѣха, больше откровенности в органической невозможности кого бы то ни было морально полюбить, к кому бы то ни было отнестись без скуки, внимательно. . . Поэтому Олег знал, например, что компанію могут водить только люди с одинаковым количеством свободных денег, а у кого поменьше — проходи, братьей, сторонкой, ибо никогда все равно не сольешься с кругом, автоматически попадая на жалкое второстепенное мѣсто, когда, нарушая благообразіе, придется вдруг, вспотѣвъ от униженія, попросить: «Володя, я тебѣ хочу сказать кое-что по секрету». При чем данный Володя уже читает на твоём лицѣ, в чем дѣло, и не желая бороться уже согласен заплатить, но едва замѣтно переглянулся уже с остальными, мол, «опять начинается». Счастливый, не водись с невезучими, проходи стороной. Несчастный, не подходи к фартовику, каждое слово ваше горечь и упрек для другого, обида и подвох. . . Олег вдруг вырос, вдруг стал взрослым, едва у него раскрылись глаза на звѣриную жизнь, гдѣ каждый из-за малѣйшаго развлеченія, то ли бриджа, синема, или просто обѣда в меценатском домѣ, охотно бросит другого со всѣми его трагедіями и гдѣ удивительная частота всеобщих встрѣч свидѣтельствуется только о том, что очень часто ни у кого из ловчил ничего не получилось на этот вечер, кромѣ кафе. Олег вдруг возмужал и, о чудо, отношенія его с товарищами вдруг улучшились, ибо он сумѣлъ отказаться от давняго постоянного тайнаго упрека другим в безсердечности, поняв наконец почти до конца свое

безсердечіе собственное. . . Теперь он научился вдруг, деревенѣя и выкатывая грудь, быстро без сантиментальности прощаться и уходить или не подходить вовсе к компаниі, если чувствовал носом, что они уходят кутить. Усвоил нравы каменнаго вѣка и перестал ставить иных в неловкое положеніе ни проявленіем, ни требованіем жалости, ибо чувствовал наконецъ метафизическую невозможность другого неоскорбительно пожалѣть, глубокое униженіе, похожее лишь на злую обиду самому оказаться жалѣему. . . Что-то сухое, веселое, крѣпкое появилось в его обращеніи вмѣстѣ с безрукавками, моноклем и американскою стрижкою наголо вокруг головы по краю куста-оазиса на верхушкѣ.

Не жду пощады и стыжусь ее оказывать. . . Всегда на войнѣ, всегда в лѣсу, всегда на чеку и на изготовкѣ и вдруг в Катинѣ комнатѣ глубокая безопасность, глубокое спокойствіе наполняли его; вѣчный поединок между ними вдруг прекращался, и Олег негаданно-нечаянно молодѣл, опускал плечи и говорил совсѣм другимъ, безыскусственнымъ, не слышащим себя голосом вмѣсто вѣчно напряженнаго, дѣланно веселаго, чуть скрежещущаго голоса мучительства жизни.

Комната медленно темнѣла, тонучи в синевѣ сумерок и папирознаго дыма. На полу, на чемоданѣ еще валялись остатки канибальскаго пиршества: недоѣденная капуста в потемнѣвшей картонкѣ, пивной полуштоф, окурки. Они сидѣли на кровати рядом, низко, близко друг около друга. У Кати прошел припадок безпричинной сытой веселости и она молчала, неподвижно в профиль глядя вверх тусклой мѣдной рѣшетки кровати в окно, а там за окном шел тяжелый и безконечный осенній дождь. День быстро убывал, уже проституціон-

ное убожество отельной комнаты было почти невидимо. Свѣта не зажигали. Спокойно, отсутствующе, в оцѣпенѣннѣи счастья Олег смотрѣл, но Катя не поворачивалась, хотя было замѣтно, что она чувствует этот взгляд. Лицо ея с правильным почти греческим носом выражало какое-то счастливое мрачное смиреніе перед сумерками, дождем, бездѣліем и собственной порочностью. Над чуть припухшими вѣками начерченныя рѣсницы, как черныя лучи, прямо, не загибаясь отѣняли большіе, слегка коровьи глаза. Рот был широкій, с сильно выступающим подбородком и с чисто греческим великолѣпіем, от гладкаго невысокаго лба отступали темно коричневой волной блестящіе надушенные волосы. . . Запах этих дорогих и грубых духов прилипал ко всему, и ночью, пришедши домой и снимая рубашку, Олег с изумленіем находил его на плечѣ и воротѣ там, гдѣ прикасалась к нему тяжелая Катина голова. Голый и цѣломудренный в своем старом монашеском одиночествѣ, Олег с изумленіем нюхал рубашку, как будто не вѣрилось ему, что Катя дѣйствительно существовала.

Катя была не очень умна, во всяком случаѣ не умна на разговор, но обо всем без сложных доводов судила удивительно вѣрно и в немногих словах. Было в ея особом родѣ ума то драгоцѣнное, рѣдкое у русских качество, которое можно назвать чувством масштаба, и рѣдкая нелюбовь преувеличивать. Разсуждала она вообще, как играла на гитарѣ: тихо, спокойно, мрачно, дѣловито, чуть слышно напѣвая без особаго голоса, но с абсолютно точным слухом. Любила Толстого и Чехова, уставала от Достоевскаго, что всегда было для Олега доказательством хорошо поставленной головы. «Ты замѣтил ли, как то сказала она, Достоевскій никогда не

описывает природы, не видѣл вѣроятно лѣса, всю жизнь проговорив, а если улицу, то обязательно ночь и грязно». И Олег потом долго смѣялся, пораженный спокойной вѣрностью этого замѣчанія. Ибо все-таки она была погибшая дѣвушка. Как-то на другое утро Олег разбудил Катю около одиннадцати, вытащил ее, смѣющуюся и порозовѣвшую от холодной воды. Это было одиннадцатаго ноября в день перемирія. Условились они идти смотрѣть парад войск, но к одиннадцати часам он давно уже кончился, и только проходя по бульвару Монпарнас видѣли они, как усталый, но в тяжелом порядкѣ, возвращался в казарму колониальный полк в защитных шинелях. Первые ряды шли молодецкато, но задніе с французской безобидностью, добродушіем, не оставляющим их даже в арміи, перли не в ногу, почти в разброд за пулеметными повозками. . . Было рѣшено во всяком случаѣ пойти в Лувр или хотя бы в Люксембургскій музей по сосѣдству, но проходя мимо Катя вспомнила, что скоро надо будет обѣлада и жаренаго хлѣба, Катя вдруг заказала Манхатан рованіе пустого днем кафе, цѣликом наполненнаго малиновыми отсвѣтами бархатных диванов. Послѣ шоколада и жеренаго хлѣба, Катя вдруг заказала Манхатан Коктейль, затѣм Вермут Касис и Куэнтро и они по просту тяжело, жалко, счастливо напились среди бѣла дня, смѣясь и ссорясь в пустом кафе на изумленіе гарсонов, в глазах которых Олегов кредит неожиданно возрос. Но платила за все Катя. Из кафе оставалось только идти домой. Олег оставив Катю в ресторанѣ напротив отеля, ибо она, пройдя желѣзную школу пьянства в колледжѣ, безусловно под хмѣлем владѣла собою, пошел нетвердо домой обѣдать исключительно из прили-

чія и классово́й борьбы. Когда же он вернулся, Катя спала на кровати в уже полутемной комнатѣ, не сняв даже коричневой шубейки-дохи. Так и сейчас на лицѣ Кати, еще освѣщенном послѣдней голубизной дождя, явно можно было прочесть что-то опустившееся, неудачливое, рано растраченное, может-быть даже непоправимо утерянное; но вмѣстѣ с тѣм было на нем то особенное античное благообразіе сознательной неподвижности, гордо меланхолической обреченности самому себѣ и жизни, которая в глазах Олега только и придавала значительность движеніям людей и без которой они казались ему какими-то прыгающими мышами просвѣщенія.

Опять завертѣлось огненное колесо жизни. . . Между бритьем, походом и первыми счастливыми поцѣлуями под дождем. . . Была у Кати такая русская, неизвѣстно как передававшаяся монастырская повадка, когда Олег, низко склоняясь, цѣловал ей руку, цѣловать его в голову по архіерейски, почти по нянькински, и на дождѣ крѣпкія ея духи казались каким-то ненормальным весенним чудом, как запах сада, вдруг, снѣжною ночью, распустившася в декабрѣ. . . Фонари горѣли ярко на снѣгу. . . Снѣг летѣлъ крупными хлопьями, и на длинныя бархатныя перчатки с кожаной обратичей, как лисья лапка, которыя Катя по послѣдней модѣ носила на номер больше своей руки, снѣжинки налетали и долго не таяли, красуясь на мѣховых эполетах ея простого англійскаго пальто, которое напослѣдок сам для нея выбрал и купил ея отец, красивый сѣдой господин с розовым лицом и золотыми зубами, весело притворно на людях ухаживающій за своей дочерью — хват, жила и толстый корень, вокруг котораго на семь

верст травѣ не расти. . . Дни летѣли за днями в нѣжном, снѣжном очарованіи почти цѣлых суток вмѣстѣ, когда, как будто потеряв счет времени, с откровенно цыганской отчаянной щедростью молодости и обеспеченности, Катя тратилась на Олега почти без остатка, вдруг перескочив через жадную свою хватскую природу, так-что оба не знали уже никогда, ни который час, ни вообще вечер ли или уж ночь на дворѣ и обѣдали ли они. . . Олег ничего не писал, даже к дневнику не прикасался или только, раскрыв его и бросив взгляд, сразу наткнувшись на безчисленные «бѣлый жаркій день, как лошадь в гору, в поту печали» и т. д., смѣясь писал поперек страниц. . . Живу, живу, живу. . . Наконец живу. . .

И вот сегодня от непобѣдимаго, кокетливаго, вѣчно расшвыриваемаго здоровья Олега не осталось ничего. . . Сегодня в бѣлый ослѣпительный зимній день Олег вдруг проснулся на сто верст от поверхности жизни. . . Вчера он лег слишком поздно, говорил слишком много, как заведенный, и когда собесѣдников не осталось, продолжал истерически галдѣть у стойки кафе дю Дом, куда под-утро сползаются всякіе окончательно бывшіе люди. Там он находил себѣ послѣдних собесѣдников, каждый из которых уже по нѣсколько раз подвергался хозяйскому запрещенію «сервировать» — за неплатеж, хулиганство, попрошайничество; потом за давностью все это забывалось, и только жирный меланхолическій гарсон, с каким-то особым отсутствующим видом, наливал им, они же заискивали, хорохорились и всячески унижались, хотя нравы были скорѣе кроткіе, там были безпаспортные шофферы, лишеные бумаг, сутуловатый бродячій хиромант, шестипалый купец с золотоподоб-

ной цѣпочкой, длинноволосый художник, слышащій голоса, а перед кафе на тротуарѣ топтались неудачники еще горшей категоріи, узкоплечіе педерасты без признаков бѣлья, арабы и заросшіе бородой глубокомысленные пьяные старики, не рѣшающіеся даже подойти к стойкѣ. . . По негласному уговору с хозяином, из этого кафе, дабы оно по закону не утратило права на ночную торговлю, никого в участок не водили, волочили только немного по Делямбр, грандіозно давали по шеѣ и неописуемая личность, мигом прстрезвѣвъ, скрывалась в сторону Эдгар Кинэ, чтобы, дав кругу, через полчаса снова появиться на бульварѣ. Олег прогалдѣл здѣсь с толсторожим славянскаго вида небритым Гамлетом в разбитых очках, поминутно оглашая воздух молодежаватой матерщиной, без которой послѣ извѣстной степени усталости и печали не мог связать двух фраз (исконная національная пунктуация, облегченіе и жалоба, обвиненіе всего на свѣтѣ), пролопотал до изнеможенія и полного, неохотнаго, зимняго разсвѣта и со слюной во рту, со звоном в ушах потащился к себѣ на Пляс Итали.

Дѣло в том, что они сильно поссорились с Катей утром из за совѣтской литературы, но в сущности, конечно, не из за этого. Не встрѣтились послѣ обѣда, а вечером на зло ему она засѣла играть в бридж со всей бандой, которая злобно привѣтствовала это появленіе, как признак скороаго заката Олеговой звѣзды, потому что так уж и повелось в этом мірозданіи кончатся романам, а именно насупленной актерской игрой в бридж одного из мелодекламаторов и унизительным злым дежурством другого за сосѣдним столиком, усиленно и тѣм болѣе неудачно старающагося держать себя как



ни в чем ни бывало... И только в час, когда Олег, перемучившись, переждав до черного отвращенія, пересердившись, мрачно упорно курил обгорѣлыми губами, все-таки выдерживая фасон и не спускаясь вниз, гдѣ повадился картежники кретинизироваться, она, как мифологическое видѣніе, высокогрудое, бѣлорукое и щурящееся отъ смѣха, появилась вдруг на ступеньках лѣстницы и, слегка раскачиваясь и нарочито и очаровательно двигая бедрами, прошла между столиками, а за ней, как тритоны и прочая тяжелая мокрая морская ерунда, полѣзли ненавистныя Олегу литературныя лийности конкурирующей эстетно славянофильской банды... Смотри на них, Олег злорадно подумал о том, как багорѣет и уродуется человек от долгаго смѣха, как платье его сдвигается со своих осей, губы распухают, руки наливаются кровью... Красиво, легко, гнусно двигая боками, Катя приближалась к его столу... Тритоны, моржи, тюлени окружали ее, рыча, дуя, плюясь, куря, фальшивя, поправляя отсиженные штаны... На минуту сердце Олегово остановилось, все превративши в отчаянную мольбу, молитву, чтобы она замѣтила его, остановилась, пркѣла подлѣ, но когда он уже все считал потерянным, она вдруг, сдѣлав скромное лицо, сиданула на самый крашек стула в то время, как ея мифологическая свита, неохотно, принужденно начала с ним здороваться, вдруг забурлив, отступив, опѣшив, не сумѣв таки удержать волшебницу от ненавистнаго похитителя... Но едва Катя исполнила нѣмую Олегову просьбу, тотчас же вспомнил он желѣзный закон недобрых их отношеній, закон Линча всякой русской любви, тотчас же окаменѣл, оледенѣл, отвернулся в сторону, гдѣ стояли гарсоны, несомый неестественной храб-

ростью ожесточенія, подозвал одного из них, заплатил, нарочно передав чаевых, и не прощаясь, как часто дѣлал, отчалил на металлических ногах-пружинах, плохо соображая направленіе. . . Перешел на другую сторону бульвара Распай и там около аляповатаго ресторана забился в тревогѣ отчаянія, сомнѣнія, нерѣшительности, заочевал по кварталу, не зная уже, не вернуться ли, во всяком случаѣ совершенно потеряв возможность идти домой. . .

Проснувшись, Олег долго не мог встать. . . Вчерашнее словесное изступленіе смѣнилось совершенным упадком сил и какой-то давно неиспытанной хрупкостью, стеклянностью во всем тѣлѣ. . . Трудно было поднять руки; хотя отлежанныя на жестком ложѣ, онѣ болѣли и чесались. . . Но кромѣ того Олег не совсѣм соображал, гдѣ он и почему нѣтъ Безобразова в комнатѣ, настолько все теперешнее, грубое, яркое, постыдно тяжелое, отошло от него за тридевять земель, и этой давно позабытой им стеклянной хрупкой физиологіи невольно в его больном мозгу соотвѣтствовали совсѣм другіе годы, другія лица. . . Новая его жизнь, постыдно напряженная, отраженіе его новаго полнокровья, здоровья, исчезла куда-то, унесенная, смытая переутомленіем, и как во время раскопок под современным городом жестянок обнаруживается другой город, средневѣковый, а под ним третій, античный, четвертый, эгейскій, пятый неолитическій, и как должно-быть реставратор смывает яркую лубочную икону, и под ней открывает другую, зелено фіолетовую, Рублевскую—Богоро-

дицы, как наводненіе, смывая песок, обнажает циклопическія стѣны, так и сейчас чувствовал он снова в себѣ нѣкую снѣжную душу, еле живую, сумеречно цѣпенѣющую в вѣнкѣ из воска при приближеніи перваго горестнаго столкновенія с жизнью, душу, которой все уже не умѣстится, не отразится в новой его тяжелой, пьяной от скопленной крови физиологіи. . . Но сколько их было, этих душ, и Олег куря папиросу в кровати вспоминает. . .

Вот она стоит неподвижно на углу, без друзей, без единого знакомаго, без приличнаго платья, узкоплечая, невыразимо покорно смотрящая на четырехчасовое зимнее небо, уже готовый распасться снѣгом, разлетѣться, осыпаться снѣжинками. В вѣнкѣ из воска и мокрыми ногами только что обошедшая всѣх своих пріятелей-презрителей, поднявшаяся на четыре лѣстницы и никого не заставшая дома. Душа, которой некуда, совершенно некуда дѣться. . . А возвращаться домой в отель «Босежур», в желтый пыльный свѣтъ под потолком. . . Лучше головой о мостовую, лучше ходить весь вечер. Сумрачно по зимнему синѣли подворотни домов, люди спѣшили, охраняя свои свертки. Но Олег уже объѣлся шоколаду до тошноты, истратив на него всѣ деньги, от тоски то и дѣло заходя в булочную и покупая конфеты по сорок сантимов. . . Холодно, неподвижно придержащая тающій вѣнок из воска, цѣпенѣла пьяная от одиночества душа, смотря на медленно и неуклюже, как брови, опускающійся вечер, повернувшись спиною к своему отелю. Ярко, предпразднично печально сквозь рѣдскій снѣг звенѣли трамваи теперь уже уничтоженнаго восьмьдесят второго номера. . . Улица пустѣла и вдруг среди тьмы отчаянья яркая мысль: «но вѣдь сей-

час уже больше семи часов, пока дойду до Глясьер, до русской столовой, будет восемь. . . Поём каши и пойду в кинематограф». . .

Вторая душа, которую вспомнил Олег, любила рано, часто до разсвѣта, подняться с кровати. . . Эта душа еще ничего не знала о спортѣ, о усиліи, сутулая и узкоплечая и большеглазая, она любила в чистом и пустом разсвѣтном городѣ слушать соловьев, которые не спѣша привольно тренькали, скулили, ворковали за высокой стѣной католическаго монастыря, маленькія и высокомерныя птицы, вѣрныя своим стотысячелѣтным ритмам. . . Туманно синѣла лоснящаяся мостовая, а вдали корпуса строящихся домов казались античными крѣпостями из розоваго мрамора, над которыми маленькой перламутровой раковиной луна тонула в разсвѣтной голубизнѣ неба; что-то таинственное, омытое свѣжестью лѣсов, источников, пещер, было в этом неторопливом воркованіи. . . Потом солнце всходило не спѣша, проѣзжали зеленые грузовики для поливанія улиц, шурша широким водным вѣером. Первые трамваи шли, отражая солнечные лучи, и только что проснувшіеся задорно звонко звенѣли своими звонками. Пыль поднималась от грузовиков с цементом, и теперь уже нужно было далеко идти на край города на городскія укрѣпленія, чтобы снова найти лѣтнюю тишину, медленный звон аэроплана, как бы остановившагося в воздухѣ, кладбище старых вагонов, гдѣ не спѣша маневрирует низкій товарный паровоз старой конструкціи. . . Эта душа, прятавшаяся в разсвѣтах, предмѣст-

ях, солнечных пустырях, уже не была так беззащитна, как первая... Что-то грустно античное, меланхолически стоическое было в ея худых плечах и больших неподвижных темно-сѣрых глазах, но и она исчезла, уступивши солнечно неподвижному, угрожающе прекрасному, насквозь мужественному міру Апполона Безобразова.

Как это было давно, как будто совсѣм другіе люди, молодые люди в различных демисезонах и всѣ они Я, худые, широкоплечіе, с красной, распухшей от жары рожей, с тонкими, бѣлыми, покрытыми испариной усталости, в изнеможеніи ложившимися на бумагу, с широкими и грязными, налитыми кровью руками, отдавленными гирями, с широкой скуластой небритой мордой, ищущей, кому бы показать кузькину мать, и еще другіе молодые люди, плачущіе в церквах, в слезах, в отчаяннн вѣры лежащіе ничком на полу, играющіе в карты, рассматривающіе свой орган в зеркало, или на улицѣ пыжащіе свои плечи перед зеркалами, супящіе брови, выпячивающіе нижнюю губу, наглые, пьяные, заискивающіе, гордые, молчаливые, болтливые, обезумѣвшіе от злобы, умирающіе от страха перед кондуктором и это все я... Я... Я... воистину не я живу, а живут во мнѣ души, а я только склад старых декораций, слов разнаго происхожденія, улыбок — различных, давно сошедших со сцены персонажей.

А вот еще одна душа совсѣм в другом родѣ... С монноклем, с бахромою на штанах, с пороком сердца и с порочным сердцем, идет, лукаво радуясь, луна оставлена Лафоргом ей в наслѣдство... Душа 1925 года.

Розовый жар неподвижнаго городского заката, скука, испарина, боль в сердцѣ, а на углу, с ночным горш-

ком на головѣ, пляшет неизвѣстный челоуѣкъ, а вокруг, как бабочки грѣхов, рѣют в воздухѣ листки его стихов. . .

Слабость, слабость с утра, грязныя натруженныя ноги, галстук с горошиной, позднее вставаніе, насмѣшка над парком, над солнечным днем. . . Ночью в кафе, среди табачной гари, сквозь ледяное окно моногля блестящее, зловѣщее ошалѣніе остроумія, выдумки, баснословныя разказы. . . Ниспроверженіе всего, утверженіе чего попало, великолѣпное презрѣніе к послѣдовательности и стихи изо всѣх карманов. . . В сортирѣ в Ротондѣ сочинительство карандашем на двери, пальцем на зеркалѣ, на почтѣ на телеграфном бланкѣ и с невозмутимым видом на улицѣ на корешкѣ газеты и вѣчное злое остервенѣніе, полет, пареніе зловѣщаго юмора, усталость с утра, нечистополтная ѣда, стоя или на ходу, прямо руками. . .

А завтра, снова выйдя к вечеру на улицу, огромная тяжелая лѣтняя луна, низко плывущая над крышами, тяжелая музыкальная истома нескончаемаго дня, еще разлитая во всем, раскрытыя ворота, натруженныя за день промежности в брюках без кальсон, воскресным вечером хриплое пѣніе пьяных солдат, и в каждом огнѣ за каждым фонарем улыбающійся дух преисподней, мертвец, скелет, полуженщина-полуполицейскій, огромный клоп, играющій на рояли. . . Из черной воды бѣлыя ноги, красныя головы утопленников, дребезжаніе автоматическаго рояля, запах мочи и первое шуршаніе рано сгорѣвших листьев под стоптанным башмаком. . . Тупая, мучительно пріятная боль в сердцѣ, волны испарины. . . Вкус пива, запах ладана, сѣна, церкви, спермы, кухмистерской и над всѣм этим еще раз ог-

ромная ошалѣлая луна-богиня воды и сумасшествія, ослѣпительная, физически ошутимая в водѣ, в тѣлѣ, на землѣ, на руках, во всем. Невнятный голос с бульвара.

Ослѣпительный луч в комнатѣ, я уже не сплю, но зачѣм вставать, мнѣ 25 лѣт... Как это было давно, давно, как это все было, было, было...

Ночь, улицы опустѣли, свинцовая тяжесть во всем тѣлѣ... Икаю... Качаюсь. Ах все равно, имѣли, имѣли они меня, кто, всѣ, весь мір, и вдруг разом мордой о скамейку... Пускай могила меня накажет...

Из-за чего собственно они поссорились. Конечно не из-за совѣтской литературы, а из-за Слоноходова... Слоноходов, широкоплечій, тяжелодумный красавец, расслабленный богатырь, евразіец, закрывая широкой ладонью свой идеально греческій подбородок, рассказал ему, что Катя, долго походив вокруг да около, не так давно прямо предложила... и что он было принялся за дѣло, но на серединѣ сочиненія ея желтые неровные зубы и общая нервная атмосфера произвели на него тягостное впечатлѣніе, и он, не довершив дѣла, бросил ее на произвол судьбы, но не это в точности, а фраза Кати брошенная как бы мимоходом: «Вы знаете, Олег в меня сильно влюблен, что мнѣ с ним дѣлать».

Исконно дьявол ходил за пустыножителями, девять за послушником, девяносто за настоящим чернецом... Но точно так же святые преслѣдуют грѣшников, как

больная совѣсть человѣчество. . . . . так Аполлону Безобразову навязчиво снились душераздирающіе небесные сны. Бог меня преслѣдует, скажет он однажды Олегу, с видом потеряннаго человѣка. . .

Олег теперь опять встрѣчался с Безобразовым. . . Любил онѣй назначать свиданія всегда в различных новых кафе с неожиданными нравами. Воскресным вечером они встрѣтились на Бульвар Себастополь в желтой, ярко выкрашенной пивной, гдѣ оглушительно шумѣлъ самодѣльный оркестр. Прямо смотря перед собою в зеркало, упершись в свое отраженіе и наслаждаясь его неказистостью, вѣчным инкогнито своим, Аполлон слушал невѣроятно, необычайно фантастически вращую гармонику. Остальные музыканты играли средне, но она, вводя в «Хоту» самостоятельную вставную музыкальную фразу против такта, поднималась до такого свинячаго, чертячаго, адскаго визга, чт казалось она дѣлала это нарочно. . . С остановившимся багровым лицом, окаменѣвъ от напряженія, гармонист колдовал над своей раздвинутой колдобинной, тренькал, бубнил, гугнявил, верещал и казалось был совершенно глух. . .

Гармоника выла. . . О чем выла гармонь та. . . Улица слабо шумѣла. . . О чем шуршала улица. . . Невслышно шевеля губами, говорили люди. . . О чем они спорили. . . Аполлон Безобразов молча, упорно смотрѣлъ на свое визави, отраженіе в зеркалѣ. О чем он думал. . . Отраженіе высокомерно угрюмо смотрѣло на него, но что оно видѣло стеклянными глазами, различало не видючи. . . Олег, как глухонѣмой демон, за шумом музыки, за рѣзким блеском дешевых ламп судорожно жестикулировал стаканом, спичками, бровя-



ми, напрягал мускулы, сопѣл, раздувал ноздри, Аполлон рядом с ним казался человѣком другой расы и даже удивительно было, о чем они могли говорить. . .

Олег рассказывала Безобразову о Татьянѣ, Катѣ, совокупленіи полов, классовой борьбѣ, законѣ Линча. Но о чем думало зеркало его, отраженное в зеркалѣ зеркала. — Зеркало болтая повторяло лицо, но лицо теряло в зеркалѣ смысл, ища его в нем. . . Зеркало повторяло бессмыслицу лица, ищущаго в зеркалѣ смысла, стола, лампы, но не повторяло музыки, и поэтому неповторенная музыка становилась неповторимой. Аполлон в зеркалѣ и Аполлон на берегу зеркала казались тождественными, но Олег, Олег зеркальный отличался от Олега, говорящаго в залѣ, потому-что зеркало не повторяло звука, и снова они оказывались тождественными, потому еще что звука этого за музыкой не было вовсе слышно. Олег до боли кричал в сплошном визгѣ гармоники, но даже сам не всегда слышал себя, и поэтому Олег говорящій был равен Олегу не говорящему и оба они подобны были Олегу зеркальному, не могущему говорить. Но о чем думал Безобразов. . . Ровно о том же, о чем верещала музыка, ни о чем и обо всем вмѣстѣ, в точности о чем попало, с той разницей, что музыка отчаянно была мимо цѣли, а он сознательно отрицал ее. . . И так цѣлый вечер Олег жесткулирует, музыка орет. . . Олег молчит говоря. . . Музыка звуча не относится к дѣлу, а Аполлон неподвижно смотрит на свое отраженіе. . .

Смотри, Безобразов, как безконечно неожиданно, так неожиданно богата форма каждаго камня, взѣсь его, возьми его в руки. Не бойся сдѣлать усиліе. Видишь теперь, как его, горячаго, горячо любит земля, не позволяя ни на мгновение оторваться от своего живота. И не потому ли так лелѣешь ты и нагоняешь свои тяжелыя руки, чтобы разлучать любимаго и любимую, хоть и ненадолго, подобно Гильгамешу, на котораго разгнѣвались боги за то, что он разлучал возлюбленных, заставляя их строить стѣны крѣпкозданных городов.

Прильни лицом к хвойному жару земли и слушай, ты ничего не услышишь, а там трудится подземный жар, текут раскаленные рѣки, это, напрягши слух и забывшись, может-быть услышишь ты, как маленькая и упорная птица дѣловито печально, солнечно настойчиво выкрикивает всю свою тайну. И снова постигаешь ты, что сущность всѣх вещей находится на самой поверхности не за вещами и некуда за нею уходить. Раскрой ладонь и поцѣлуй ее; не внутри, между костями и кровью, раскрывается тѣло, а в золотой откровенности своей, в кожѣ. Кожа есть откровение тѣла, усталости, счастья, здоровья, страха, порока, вождельнія, и нѣтъ ничего глубже кожи. Цѣлуй горячую кожу, земли, гладь ее, нюхай и пробуй на вкус. Не под кожей, а в ея обнаженности раскрывается душа земли, и нѣтъ ничего глубже поверхности. Но чѣм была бы кожа без зрителя своего, не царапает ли себя от отвращенія запоздалая дѣвственница, не знавшая мужа, так вот и вся красота міра радуется своему зрѣнію, как оно ей. Смотри, Безобразов, земля легко выносит тебя, как огромное дерево легко выносит птицу, ситуирующую,

раскрывающую, подчеркивающую его величину сказочным отдалением своего полуденного пѣнія. Ты и земля хорошо понимают друг друга и потому так ровно дышит грудь, как будто и нѣтъ дыханія, так спокойно бьется сердце, как будто отсутствует вовсе. Вещь сама себя видит в тебѣ и сама себя в тебѣ находит прекрасной. Ты зеркало мірового тепла, ставшаго вещами, и ровно спокойно, безо всякой мути разстилается оно перед тобою, как перед голубым лицом міра. Добродѣтель же зеркала есть и твоя добродѣтель: все отражать, всюду присутствовать, терять себя, теряться в зеркалѣ зрѣнія, непоколебимо не дрогнув встрѣчать ослѣпительные человѣческіе глаза. Так встрѣтился ты и, почти не дрогнув, отразил тяжелые Татьянины глаза, и только на мгновеніе зарябила поверхность, разошлась чуть видными кругами, полосами, лучами. и снова расправилась. Нѣтъ, Апслон, ты не найдешь Бога в человѣкѣ, пока не полюбишь в человѣкѣ Бога. Все личное кажется тебѣ неприлично-назойливо привязанным к самому себѣ, больше всего обреченным самому себѣ, обязанным благородством игры защищать свою неповторимость, и поэтому неприлично бояться смерти. Зрѣніе же одного полуденнаго зрителя есть продолженіе зрѣнія другого, если это хорошее зрѣніе и он умѣет забыть себя, забыться в зримом, самодовлѣющем совершенствѣ зримаго. Но ты устал, Безобразов. Ты незамѣтно для себя смертельно устал торжествовать, устал видѣть, устал быть виденным. Так самый яркій час недалек от перваго вечерняго сумрака, а ночью исчезает и зритель и зримое, и только звѣзды и горячія живыя сердца, неподвижно кипят в своей ненасытной жадѣ счастья. Потеряв жажду, ты ее по-

терял, эту воздѣсушую ночную жизнь, Аполлон, ты теперь самый поверхностный человек в мірозданіи, потому-что жажда и боль его глубина, а тебѣ не больно.

В концѣ вечера получается слѣдующій результат уравненія: Олег измучен, но доволен (Аполлон де во всем с ним согласился), Аполлон доволен (Олег просто не смог разрушить этого довольства, принесеннаго им с улицы), музыкант доволен (его выслушали), публика довольна (он кончил)... Олег говорил о себѣ, Аполлон говорил: «да» и «конечно»... В общем наговорился, переговорил и договорились.

Как нынѣ собирается вѣщій Олег... зловѣщій... Осоловѣвшій... Олег идет по бульвару... Переговорили и договорились. Впрочем говорил больше я... Опять он у меня выскользнул из рук... Величествен, но однообразен, утомительно совершенен... Погоди, найдет и на него баба лягавая: *Monsieur Personne cherche Madame Personne*. Хотѣл бы я видѣть... Ах душа, когда же ты наконец посмѣешь быть как он, огромной, высокомерной, зловѣщей, вѣщей, увидишь наконец безчеловѣчное величіе вещей... Их необычайную законченность, их святую обреченность своей единственной формѣ, их святую глупость и бесполезность внѣ ея. Их абсолютную обреченность своему назначенію.

Аполлон не отвѣчал, и все-таки для Олега разговор был. Он почти не слушал, и все-таки Олегу было больно, потому-что слова, падая в омут Безобразовщины, слабѣя, теряя вѣс, замолкали с особым жалобным зву-

ком. . . Они обезвѣчивались, теряли убѣдительность и вѣс., . Нѣтъ, они даже не глохли, ибо Аполлон Безобразов не был вовсе средой безъ отзвука, наподобіе юмористов, растраченных, дезэлектризованных полулюдей; нѣтъ, звук иногда даже усиливался, но как-то искривлялся, попадая в его атмосферу, вытягивался, раздувался, как челобѣк. на лету, во снѣ мѣняющій форму, теряющій голову. Слова на лету мѣняли значеніе, безопасныя, смѣшныя становились страшными, угрожающими (слова о полѣ), счастливыя—печальными (слова о небѣ, о силѣ, о разумѣ), новыя—древними (всѣ слова вообще). . . Аполлон не отвѣчал, но на носу его был написан отвѣтъ. . . И Олег вдруг глох, смущался, падал куда-то, стыдился неприличной неважности, суетливой трагичности своих слов. Особое мученіе неподвижности, как магнитная аномалія, окружало его, все теряло силу и цвѣтъ, так-что Олегу казалось, что даже вещи, на которых случайно останавливались Безобразовы глаза, сначала чувствовали смутную тяжесть, неловкость, наконец начинали явственно шевелиться, корчиться под его взглядом. . . Напримѣр, круасан в своей корзинкѣ: только-что Олегу показалось, что он начал дрожать, едва Аполлон в него уперся взглядом, и вдруг судорожно зашевелился, как будто он взглядом этим выжимал из хлѣба живую душу. . . Ты в живых людях видишь насквозь, то-есть одни скелеты. . . Что же дѣлать, скелет всегда интересен. *L'homme est bavard, toute squelette toujours élégante.*

О одиночество, ты всегда со мною, как болѣзнь сердца, которой не помнишь, которую не чувствуешь, и вдруг останавливается дыханіе, как одиночная камера, что всюду ношу с собою... Глухонѣмота... Безпамятство... Неграмотность. Один на бульварѣ, не помнящій родства, останавливаюсь, ослѣпленный своим богатством... Свободен, совершенно свободен пойти направо или налево, остаться на мѣстѣ, закурить, вернуться домой и лечь спать, посреди дня или среди дня пойти в кинематограф, мигом из дня в ночь, в подземное царство звуковых тѣней. Ах, наказанье, каторга, рай, наслажденіе, награда, и снова Олег смѣялся над своим народом, не додумавшимся до одиночества, иначе как подпольнаго, страдающаго и вынужденнаго, не дошедшим до индивидуализаціи. Один, Один, Один. Свободен, как лев в пустынѣ, лев вегетаріанец, но кто он... Студент... Нѣтъ, Олег провалился на первом же экзаменѣ, о позор, на сочиненіи о Гоголѣ... Писатель... Да, в отхожем мѣстѣ, пальцем на стѣнѣ, в мечтах, в дневниках, в отрывках без головы ни хвоста... Монах с грязными ногами и наодеколоненной головой. Пролетарій, нѣтъ, безработный буржуй, нѣтъ, нищій идеолог буржуазіи... Бездѣльник... Нѣтъ, Олег цѣлый день занят чѣм-то... Философ... Но вѣдь он ни единой книги не дочитал до конца... Дурак... Нѣтъ, потому-что ему всегда казалось, что это он сам мог написать... Никто... Никого... Ничто...: Никакого народа... Никакого соціальнаго происхожденія... Политической партіи, вѣроисповѣданія... И вмѣстѣ с тѣм какая неповторимая русская морда, с безформенным носом, одутловатыми щеками, толстыми губами... Но вдруг нос становится тоньше, губы уже и саркастиче-

скій, спокойный, презрительный Аполлон-Безобразовскій свѣтъ падает на лицо. Что-то дьявольское, дальнее, монастырское, небожительское просвѣчивает сквозь него. . . С холодным удивленіем, вдруг, будто проснувшись, всматривается он в окружающее, но сейчас ему уже далеко до дивной аскетической неподвижности этого метафизическаго бандита, да кстати гдѣ он, этот герой без одинаго приключенія. . . Совершенно неизвѣстно, и уж если Безобразов исчезнет, то хоть живи в сосѣднем домѣ цѣлая армія товарищей, его не разыщут. Потом Безобразов это всѣ и никто, и может он уже перемѣнил свою фамилію и искренно считает себя французом.

Олег идет по авеню де л'Обсерватуар к Итали и с удивленіем понимает, что Катя всего этого не знает. . . Ничего неземного, неподкупнаго, ледяного в ней нѣтъ; как красивое бѣлое животное, грустное и спокойное, Катя всегда и за всѣм видит землю. . . Она удивляется, почему Безобразов не работает, почему у всѣх нѣтъ денег, почему Олег не сдает экзаменов на шофера такси.

Вот у тебя какая линія жизни, ты до девяности лѣтъ проживешь и успеешь написать девяносто книг. . . У нея есть деньги, но работа для нея благодать, побѣда над сном, над пьянством и мертвой печалью. . . Она теперь мечтает открыть модную мастерскую.

Будем работать, Олег. . . Будем жить, жить, жить. . . А потом бросим их всѣх, уѣдем в Россію, куда-нибудь на Урал, на завод, за которым сразу лѣсная пустыня, магнитныя скалы. . . Будем ходить рваные. . . Хорошо. . . Среди равных. . . Научимся говорить на блатном кучерявом зоценковском жаргонѣ. . . Ах Россія,

Россія... Домой с небес... Домой из книг, из слов, из кабацкаго испитого високомѣрія. И Олег говорил: да, Катя... И глаза его зажигались, как зажигались они от всего, от музыки, от вина или же от уличной драки. Но дальній спокойный ироническій голос Аполлона Безобразова говорил в нем.



В. С. Яновскій.

## ЕЕ ЗВАЛИ РОССІЯ.

Я выучил у ржавых буферов,  
Когда они Урал пересѣкали,  
Такую музыку без слов,  
Которая сильнѣй печали.

Н. О ц у п.

Вагоны шли, стуча, звеня, шатаясь.

Сдѣпленія гремѣли то натягиваясь, то свѣшиваясь узлами на путь. Бронированныя площадки были усыпаны опилками, пустыми ящиками; как падаль, были разбросаны полтора-дюймовки. В раздвинутыя двери теплушек глядѣли щиты пулеметов и темным глазом шупали степь — зѣвал дул.

Паровоз кричал. Уныло, зло. Он устал. Он очень устал. Как обиженная болью корова, мычал он: У-у-у-у...

Только время от времени он ронял в ночь вмѣстѣ с хвостом дыма, трубой искр, — яростный, мощный рев. Трясаясь, шипя от ярости и гнѣва, он вдруг ревѣл свирѣпо и жестоко. И тогда сидящие на тендерѣ солдаты чувствовали, что у него желѣзная глотка, чугуныя легкіе и стальной язык. Но снова устало скрипѣл паровоз, трясясь и злобно мыча.

На тендерѣ говорили о том, что все уже сжимается кольцо партизан, что уголь и воду все труднѣе доста-

вагъ, что комендант не сегодня-завтра спятит с ума, — на остановках, злой, он ищет зачѣм-то грязных дѣвок; а артиллерійскій поручик, боится заснуть, боится даже нюхать эфир, — так как комендант в него стрѣляет, ревнуя к Зинаидѣ.

Машинист предлагал пробиться к красным; кочегар уговаривал уйти в партизаны, назначить матроса атаманом.

В командном вагонѣ играли в карты. Играли вяло, скучно: деньги потеряли свое значеніе. В замкнутом, отрѣзанном кольцѣ ходил бронепоезд. Деньги не имѣли цѣны. Играл умѣло, со вкусом, только один матрос. Случайно как-то на полустанкѣ он лихо вскочил на площадку, заговорил прибаутками, да так и остался... Один матрос все обыгрывал, да обыгрывал, сыпя шутками и пословицами. Бывалый человек.

Зинаида — растрепанная женщина с темным землистым лицом, — нелѣпо вывернув шею, напряженно застыла: вот уже цѣлое мгновеніе она не может вспомнить, — комендант ея муж или поручик? . .

Вздрагивая, хромая, бродит из угла в угол артиллерійскій поручик. Он идет и спит. Вздрыгнет, отскокит в сторону, одним пріоткрытым глазом обѣжит играющих: подпѣвающего матроса, коменданта на койкѣ. . . и снова, качаясь и вздрагивая, задремлет на ходу. Он боится заснуть. Он боится коменданта.

Бережно поглаживая рукой маузер, комендант лежит, полуприкрытый грязным, исподним бѣльем, в своем углу, внимательно слѣдя за прихрамывающим поручиком: тот пройдет налѣво, голова коменданта — взлохмоченная, опухшая, удивленная — налѣво; поручик направо, и голова коменданта поворачивает на-

право. Когда поручик, пересѣкая вагон, приближается к Зинаидѣ, лицо коменданта подергивается не то гримасой, не то усмѣшкой.

Время от времени комендант вдруг безпокойно ерзает, начинает приподнимать маузер: он видит двух поручиков. Он знает: один — это отраженье большого зеркала. Но какой?

Вот они одновременно подносят к лицу изогнутую кисть правой руки с оттопыренным толстым пальцем. Жадно припадают, нюхают, лизут ямочку у сгиба, тщетно стараясь вспомнить запах давно вышедшаго кокаина.

Бережно уставив револьвер в одного из поручиков, комендант нажимает гашетку. Выстрѣла он не слышит. Только благодаря вздрогнувшей Зинаидѣ он знает, что стрѣлял. Все остается по прежнему. Вѣроятно, стрѣлял в зеркало. Тогда он переводит дуло на второго поручика. Тот срывается с мѣста и скрывается в купѣ.

— Хе-хе-хе, — шепчет комендант.

И, осторожно намочив круг полотенца эфиром, бросает его себѣ на лицо; прикрѣпляет узлом на затылкѣ.

Удушлив, тяжек, неимовѣрно страшен первый глоток эфира, но уже на самом днѣ себя таит он освобожденіе, превращеніе.

Теперь поручик в безопасности.

Комендант видит:

Пустыня. Волнами лежат пески. Ночь. Луна, как ядро: раскаленное, зловѣщее. Она безпокоит, зовет, сводит с тропы. Комендант и туркмен стоят, судорожно вытянув руки к лунѣ. . . На камнях древняго разру-

шеннаго храма танцуют змѣи. Сотни, тысячи, тьма... Цѣлая площадь усѣяна острыми, мускулистыми тѣлами. Став на хвосты, он мѣрно, вкрадчиво раскачиваются; их пляшущія жала молитвенно тянутся вверх, к лунѣ...

Вдруг комендант слышит тихій благовѣст. Так звонят только бубенцы с языками из человѣческих костей на шеѣ верблюдов.

Комендант с туркменом ложатся на землю.

Идут верблюды, Гошїе, темные, горбатые — они безшумно пробѣгают. Только, если пристально взглянуть, можно замѣтить людскія фигуры, припавшія к горбам. То — трупы. Высохшіе, обуглившіеся скелеты.

Вдруг туркмен подпрыгивает и, приложившись к карабину, диким криком прорѣзывает воздух:

— Чума!

Отставив ногу, не цѣлясь, он кричит и стрѣляет в упор, по молчаливо пробѣгающему каравану. Караван медленно исчезает. Нѣсколько верблюдов падает. Тяжко бьются о землю; потом стихают со вздохом.

Караван уходит к Россіи.

— Чума! — кричит туркмен и стрѣляет в песчаную даль.

Поезд бѣжит. Звенят буфера на спусках. В машинном спорят. Кочегар увѣряет, что люди Бога забыли, осатанѣли, оттого кровью исходят: время такое нашло.

Из штундистов он.

А старик артиллерист брезгливо отмахивается, язвит, усмѣхается. Он доказывает, что все это было и будет: всѣ кровь лили.

— Одно всегда время. Одно, — вѣщает он. Потом, повернув лицо к окну, медленно произносит, словно сплевывает: — Кто бабьей крови не проливал?!..

Солдаты вздыхают. Уныло глядят на черную, непокорную землю.

В древнем спорѣ, бьются с дорогой колеса. Рвут в ключья пространства. Звѣрем набрасываются на разсвѣтающій путь, глотают, давясь и урча. Непокорной, сѣрой лежит земля.

— И сон же, — улыбается комендант, очнувшись и любезно начинает рассказывать.

— Верблюды чумные были — замѣчает Зинаида. — Источники заразили... А змѣй не было.

— Были верблюды? — поражается комендант.

— Да, когда мы на Хиву уходили.

— На Хиву? — переспрашивает удивленно комендант. — Но сейчас мы на бронепоздѣ... Ищем своих? — молит, выпытывает он.

— И змѣи были! — весело подсказывает поручик. — Змѣи завтра были.

— Завтра? — повторяет комендант и кивает удовлетворенно головой: он понял...

На полустанках, гдѣ запасаются водой солдаты, неохотно подходят к станкам. Старик артиллерист бѣжит к коменданту.

— Во снѣ или на яву? — спрашивает комендант, вода своими красными, гнойными глазами.

— На яву, — убѣждает старик.

— Дѣйствуй, — и свѣсив босыя, желтыя ноги, комендант натягивает брюки и, держась руками за перегородки, выходит, шатаясь, из своего купѣ.

Если огонь становится слишком настойчивым, ма-

шинист дает задній ход и ведет состав обратно: ночью он вернется и перейдет на другой путь... Не радостно поют колеса.

Небо в росистые, разсвѣтныя часы кажется неопрятной постелью. Перинами без наловок взбиты тучи. А с края, как насосавшаяся кровью вошь — встает багровое солнце.

Ухмыляясь комендант подходит к пулемету, берет за ручки, подымает жерло вверх: в небо, в солнце... пускает по цѣпи.

— Та-та-та... вѣрно и радостно зачинает машина. — Заразу! Душу! Мать! — вторит комендант.

Неувѣренно улыбаясь, солдаты продолжают стрѣлять. Издали бронепоезд тогда выгладит внушительно: лязгая, в дыму и искрах, он ходит взад и вперед на малом отрѣзѣ, выбрасывая предпоследніе заряды в низко нависшее небо.

Лунной ночью набирая воду, солдаты замѣтили на площадкѣ старинаго, разрушеннаго строения сонмы гадов. Став на хвосты, они медленно и вкрадчиво плясали, заворожено глядя на луну.

— Мои змѣи. Вот мои змѣи! — возбужденно потирал руки комендант.

— Почему ж твои? — удивилась Зинаида.

— Да из сна! — волнуется он.

— Какого сна?

— Да, рассказывал же! Верблюды еще чумные? — блѣднѣет комендант.

— Это было во снѣ, — объясняет поручик...

Захватив на вокзалѣ нѣсколько ящиков со снарядами, воду, уголь, поезд перешел на другой путь.

Комендант торопливо укладывается с Зинаидой на койку.

Ея запрокинутая голова тянется к окну. Она видит яркія звѣзды, на синем бархатѣ неба. Неподвижно, под твердый стук колес, она думает, что и в ином мірѣ не забудет: вот это глубокое небо и эти влажныя звѣзды — высоко; и себя вот так внизу и чужого человѣка, изшедшим бугаем припавшаго к темной подушкѣ рядом.

— А в полѣ сейчас хорошо, — шепчет она.

— Не уйдешь! Сейчас уж не уйдешь! — наклоняется над ней вдруг комендант и взгляд его становится осмысленным, торжествующим и жестоким. — Сейчас уж не уйдешь! . . . — Но через минуту он снова впадает в полубред.

Он повторяет на всѣ лады одно слово. Он забыл, что оно означает. Оно написано на потолокѣ его купе — жирным, химическим карандашом. Размашистый, неровный почерк. . .

— Брест-Литовск, Брест-Литовск, — заворуженно повторяет комендант.

На развѣздных мостах стоят теплушки. Шумит рѣка ночным шумом.

— Буг-Бог-Буг.

Это генерал Гофман стучит подкованным сапогом в отвѣтъ на пространную рѣчь; и близко наклонившись к австрійцу-канцлеру, Юффе просительно и упрямо шепчет: — Все-таки нам удастся. . . А на лбу его не дымится мѣсто, куда года спустя упрется дрогнувшая сталь.

Отходят перегруженные теплушки.

На мохнатых конях скачут хмурые люди, в галопѣ октябрьскаго вѣтра играя землю в чет иль нечет.

Шумит рѣка ночным шумом:

— Буг-Бог-Буг...

— Брест-Литовск, Брест-Литовск — зачарованно шепчет комендант. — А-а-а-, внезапно замѣчает он Зинаиду. — Сейчас не уйдешь! Сейчас уж не уйдешь! — улыбається он жестко и осмысленно.

Зинаида встает и, шатаясь, босая, выходит из купѣ. У нея был ребенок. Когда-то.

— Костя, Костя, — шепчет она безсвязно.

Чьи-то руки сжимают Зинаиду; волочат по полу, бросают на койку.

— Костя, Костя, — все шепчет Зинаида и вдруг испуганно и удивленно замолкает.

К ней в темнотѣ наклоняется круглое, сонное лицо поручика.

В полночь комендант приподнимается, зажигает свѣчу, ухмыляясь, сползает с койки и, выглянув из купѣ, пріязненно манит поручика пальцем.

Осторожно, опасливо, не спуская с него глаз, поручик входит за комендантом в купѣ.

Комендант приподымает свою рубаху и, подойдя близко к свѣчѣ, мизинцем указывает на что-то. Наклонившись, поручик долго всматривается в малую, неровную, сухую ранку.

— Хе-хе-хе, — говорит комендант.

Круглое, сонное лицо поручика багровѣет, пухнет, дрожит. Потом снова мякнет, желтѣет.

Помолчав немного, он непріязненно бросает:

— Это — во снѣ, — и, повернувшись на каблуках, медленно выходит, придерживая рукой живот.



Комендант снова укладывается. . .

Под утро старик артиллерист испуганно его будит.

— Застрѣлилась.

— Во снѣ или на яву? — освѣдомляется комендант.

— На яву. Застрѣлилась, — повторяет старик. —

Зинаида застрѣлилась.

— Гдѣ? — суетливо приподнимается комендант.

Поѣзд стоит в степи. Пахнет горячим паром и углем. Сѣрое, жесткое небо облапило землю. Как раны, как сыпь, вздымаются кругом кочки, предгорья. . . кустарником разбросаны молодые ели. На холмѣ чернѣет столб со сбитым царским орлом, налѣво Европа, направо Азія. . .

У самага полотна, под двумя елочками, замѣчает комендант грязный, темный ком трупа — Зинаиду.

Он подбѣгает, прихрамывая, суетится, приподнимает. С помощью артиллериста вносит труп в вагон.

— В живот? — спрашивает поручик.

— Клади! — распоряжается комендант.

— В грудку, — заикается солдат.

— Пошли? — ищет старик взгляда коменданта.

Поѣзд дергается, шатаясь скрипит — трогает. Паровоз жалобно мычит. . .

Поручик и комендант — каждый в своем купѣ — достают бутылки с эфиром, льют на полотенца и жадно припадают. Ощупью пробираются к своим койкам.

Поѣзд идет неровно. Снова останавливается. Солдаты спорят. Матрос зовет к партизанам. Машинист отказывается. К нему присоединяется старик артиллерист: они боятся. Рѣшают пробиться вперед: не бѣлые, так красные — кого встрѣтят.

Матрос надѣвает бѣлье поручика, Зинаиды, два костюма. И тучный, широкій, с туго набитыми карманами, исчезает так же незамѣтно, как появился, скатывается с полотна. . . Бывалый человек.

Солдаты отцѣпляют задніе вагоны. Локомотив с нѣсколькими бронированными площадками дает свисток и отходит. Все больше и больше увеличивает он расстояние меж собой и брошенным составом; наконец исчезает вдали. И вид сиротливо стоящих вагонов среди пологой, холмистой степи, жалок и непонятен.

Комендант зрит. . .

Он лежит на койкѣ — в волненіи, в безпокойствѣ. Его лицо закрыто полотенцем. Что-то бьет молотом об его сознанье, зовет: на помощь, на помощь. . . Но тѣло ему непослушно.

И вот он отдѣляется, скользит в сторону. Его тѣло все лежит на койкѣ, а сам он торопится на неслышный зов. Бредет. В сосѣдном купэ он находит задыхающагося поручика. В наркотическом снѣ поручик тщетно силится сбросить непослушными руками повязку с лица. Но тугим узлом стянуто полотенце на затылкѣ и собственной пѣной захлебнется поручик. Синими веревками дергаются на его шеѣ вены.

Комендант знает, — лишенный тѣла, он не может развязать узла. Вѣтром обѣгает он одинокіе вагоны. В одном из них на ящикѣ от сухарей лежит труп Зинаиды. . . Чѣм-то внежизненным касается он трупа, припадает, властно влечет.

Зинаида шевелится, ерзает. Злобно приподнимает черное — в сѣрых круглых пятнах — лицо и огрызается. . . Как собака, как прирученный волк.

Воронкообразно мечется кругом нея комендант, тянет.

Огрызаясь, Зинаида медленно, медленно, приподымается с ящика, идет к поручику и черными негнуцими пальцами развязывает петлю. Поручик шумно, клетотно дышит, кашляет.

Зинаида поворачивает — как в гипнозѣ — движется обратно. Но не доползая к ящику — падает навзничь, застывает. А верхняя губа ея все так же приподнята, как у бессильно и злобно огрызающагося пса.

Комендант возвращается в свое тѣло; неувѣренной рукой сбрасывает с лица полотенце. Забывается у себя на койкѣ.

Над самым горизонтом костром тлѣло солнце, когда он очнулся.

— Во снѣ или на яву? — произнес он вяло.

Потом задумался: садится ли это солнце или всходит?

Босиком, неслышно ступая, он вышел из купѣ, осторожно обошел труп жены и припал к дверному глазку купѣ, поручика. Но тотчас же с силой — как от толчка — отпрягнул в сторону: его глаза встрѣтились вплотную с подсматривающими безцвѣтно-голубым взглядом поручика.

Суетливо заспѣшив, комендант вбѣжал к себѣ и схватился за маузер.

— Это вы передвигали Зинаиду? — спросил шопотом, боязливо оглядываясь, поручик, появляясь в дверях.

Комендант рѣшил, что слѣдует сказать что-то торжественное; немного подумав, он произнес:

— Молитесь, каналья.

— Почему? — удивился поручик.

Разговор не налаживался. Комендант начал медленно поднимать револьвер.

Отскочив за дверь, поручик рѣшительно выставил свой браунинг. Его лицо было жестоко и сонно...

Полотно прикрыто холмами. Не сразу со степи замѣтишь вагоны. А лошади низкія, толстоногія.

Отряд выѣхал на холм.

— Робя, — крикнул широкій в буркѣ. — Машина!

Спѣшились. Молча смотрѣли.

В раздвинутыя двери теплушек торчали пулеметные щиты; на площадках, усыпанных опилками, лежали трупами разбросанные станки.

Вдруг к ним донесся почти игрушечный звук револьверной стрѣльбы.

— Номер шесть, — произнес широкій в буркѣ.

Подождав немного, люди рѣшительно уцѣпились за старыя почернѣвшія, просаленныя сѣдла, с гиком прыгая на лошадок, лавиной пронесшихся к вагонам.

О, сѣдла, — в гнойных пятнах, в сабельных шрамах, — о русскія сѣдла. Сколько потных ног смѣнилось в каждом стремленіи, пока усталые всадники, роняя густую кровь, угрюмо ворочали, то спиной, то лицом, к рубежу; и молча кусая злыя губы, лошади падали, умирая от разрыва сердца!

О, сѣдла! О, русскіе сѣдла!

Высоко над полотном, над мчавшимися карьером по кочкам и кустарникам, отрядом, — стоял столб со сбитым царским орлом: налѣво Европа, направо Азія.

С. Шаршун.

## ХІІ. ПИСЬМО ДРУГУ.

Дорогой Дмитрій.

Вот уже больше трех недѣль, как вы были у меня и, «по зрѣлом размышленіи», мы выбрали вторник, через 10 суток, тѣм днем, когда я должен буду пріѣхать помочь вам пересадить нѣсколько деревьев.

Впрочем, прикидывали и зыбирали вы, т. к. предвосхищеніе этой работы, было мнѣ, по меньшей мѣрѣ различно, и очень проигрывало по сравненію с отрывом от моих занятій и замѣнѣ их непрерывным разговором и по поводу произведенной работы, и по всѣм прочим поводам, и чаще всего безо всякого повода, затягивающимся иногда до разсвѣта!

Конечно, вас надо понять.

Я кажется теперь единственный из оставшихся друзей, которых раньше были десятки.

... Но, еще сильнѣе я дрожал за свою эмигрантскую шкуру, потому что, как это недавно выяснилось при «шوماжной» чисткѣ, проживающим на законном основаніи я являюсь лишь в предѣлах департамента Сены.

... Значит у вас я уже безпаспортный!

С этим увезенным Вами рѣшеніем, и желаніем доставить вам удовольствіе своим присутствіем, а в придачу также и получить 20 фр. за работу, съэкономить в питаніи, и заручиться другими полезными для меня вещами и обстоятельствами, о которых только намекалось, или даже и нѣтъ, но к которым вы, искренне ко мнѣ расположенный, годами уже клоните дѣло, . . . я и находился нѣсколько дней, пока не спохватился, что выбранный нами для моего пріѣзда день. . . приходит- ся как раз на получение вспомошествованія.

Правда, в началѣ я предупреждал об этом но в пылу бесѣды все было забыто.

Извѣщая вас о недоразумѣніи, я понимал, что нужно сразу же выбрать другой день, потому-что весна не ждет и предложил пятницу, слѣдующую за назначенным вторником.

Дни шли, и я не без ужаса, задавал себѣ вопрос, как при начавшей опускаться температурѣ, при вѣтрѣ с дождем и снѣгом, я буду работать под открытым небом!

Прикидывая, сколько старой одежды и теплаго бѣлья, нужно взять с собой, я передним числом, за счет двадцати франков, рѣшил купить новый чемодан, т. к. имѣющійся расползается.

. . . Больше же всего меня утрашало само путешествіе с чемоданом. . . жандармы и особенно жители, от станціи до вас, в деревнѣ!

Срок приближался, ваше молчаніе знак согласія.

Чемодана, к счастью, я не купил.

С большими колебаніями, рѣшил раскрыть консержкѣ всю подноготную, — по крайней мѣрѣ, если аресту-

ют, можно будет установить смягчающее вину обстоятельство.

Утром в пятницу спустился по лестницѣ.

Увидѣвъ меня, консьержка сдѣлала приглашающій жест и таким образом я вошел к ней «для дачи показаній», а она мнѣ вручила секретку, на которой была нацарапана моя фамилія, без Е на концѣ, и адрес, без обозначенія отправителя.

«... Все равно, до возвращенія уже ничего предпринять не могу!

... Однако, что мнѣ напоминают эти каракули?!», пронеслось у меня в головѣ, пока я опускал вашу секретку в карман.

Затѣм, я заявил, что проведу одну, в крайнем случаѣ, двѣ ночи: 11, rue de la Poste, à Casy-le-Beau.

«Вот и хорошо!, по крайней мѣрѣ немного нарушиться однообразіе вашей жизни!», даже не без порывистости, отозвалась мадам Дегюллаз.

Я зашел купить конфетъ вашему сынишкѣ.

Затѣм спустился в метро.

«Прочитай письмо-то!», совѣтую сам себѣ.

«А что там, время летит!».

Однако, в вагонѣ я немедленно занялся этим... и на первой же остановкѣ, шало из него вышел, чтобы отправиться в обратный путь, т. к. вы извѣщали, что дома не будете!

... И как это я сразу не вспомнил вашего почерка?!

«Rebonjour, еще раз здравствуйте!», не без желчи поздоровался я с консьержкой, объяснив суть дѣла, на что она с французской живостью, воскликнула: «что, раньше-то он предупредить не мог?!»

Пришибленный этой отчетливой формулировкой, я, медлительно и тяжело поднялся к себѣ.

«Дѣйствительно, за двѣ недѣли, не собрался извѣстить своевременно!

Выйди я из дому раньше, пока не было почты...!

... Или даже просто, не забудь помѣстить своего адреса, мнѣ некому было-бы пускаться в объясненія с консержкой!»

Грузно опустившись на стул, как был, в пальто, я принялся за чтеніе вчерашних газет, как-то все больше не имѣя желанія мѣнять положеніе, однако начав сморкаться... и кончая чтеніе, уже понимал, что схватил насморк.

Но, аппетит еще был и т. к. все съѣстное я подобрал накануне, сварил рис.

Пополудни я пытался переписывать, а к вечеру уже был в постели и рису пришлось ждать дня 2—3.

Здѣсь-то я и перемѣнил к вам гнѣвъ на милость!

Окажись вы дома, мы-бы, конечно, рѣшили, что захворал я у вас на работѣ... и что-бы я тогда дѣлал, ... в придачу к опасеніям заразить вашего сынишку?!

Однако, дорогой Дмитрій, дѣло приняло и еще болѣе благопріятный оборот!

... при вашем послѣднем посѣщеніи, она еще оказала вам маленькую услугу, сообщив № моей комнаты.

Эта фарфоровая кукла, хохотушка, поющая даже без излишней фальши, особенно «сгоряча», в первые мѣсяцы по поселеніи, причинила мнѣ немало хлопот.

Она из сѣверных департаментов и поэтому уже блондинка, но живет в Парижѣ, вѣроятно с самого момен-



та бѣгства от наступающих нѣмцев, т. е. приблизительно всю жизнь.

У нее есть рента.

Но, конечно, буржуйка она довольно скромная, раз живет «под одной кровлей» со мной... однако, гардероб ея довольно основателен... да и образ жизни, все-же не чета моему! у нее есть печь, она кормит, являющагося 3—4 раза в недѣлю «своего содержателя», русскаго шоффера, и частенько, подруг.

Одна из них, моя бывшая сосѣдка, комнату которой теперь занимает Сырдин.

С появленіем сѣверянки, обѣ женщины, конечно, быстро подружились.

И вот, здѣсь-то и посыпались шишки на мою голову!

Раздѣляющая нас стѣнка, пальца в 2 толщины, но часто онѣ болтали у открытой двери, примыкающей к моей, т. е. переселившись ко мнѣ всѣм своим существом, кромѣ тѣлеснаго.

«Сюзанна, что ты дѣлаешь?!», слышался голос моей менѣе настойчивой сосѣдки, когда сѣверянка или обвязывала ниточкой, или потихоньку поворачивала мой ключ, забытый в двери.

По временам, Сюзанна принималась вставлять в свои пѣсни, мою фамилію, и нѣсколько раз произносить: «как поживаешь?», а то и «избранныя мѣста» нашего языка, выпитанныя у сожителя.

Я не раз переносил дѣйствіе в русскую среду, чего только не рисуя себѣ!... вѣдь она могла что угодно наговорить любовнику, полиціи, ... могла учинить у себя пожар, лишь для того, чтобы звать меня на помощь!

Наконец сосѣдка переѣхала.

Прошел добрый год «наших отношеній».

Встрѣчаясь на лѣстницѣ, в коридорѣ, или отправляясь за водой, к крану, находящемуся вблизи ея комнаты, я раскланивался, называя ее мадам, хотя и зная, что она мадемуазель, на ходу обмѣниваясь одной-двумя фразами.

С пріятелем же ея, разминовался раза три, в закоулках катакомб и лишь по тому-что он дѣлал это молча, без обязательных *Pardon, Monsieur*, еще не зная о новых жильцах, я подумал, что это соотечественник.

Словом, в лицо я его до сих пор не знаю, хотя вот уже 2 года, слышу, как он, умываясь под краном, всегда начинает громогласно сморкаться, а сидя в операционном кабинетикѣ, находящемся, как вам извѣстно, рядом с комнатой Сырдина, сипловатым, типично русским голосом, отхаркивается.

Слышу я также и их воркованіе: ея капризное, дурашливое, но и очень счастливое «*mais, non*», и поцѣлуи при разставаніи.

Хотя однажды, у них был крупный разговор и мнѣ почудилось, что он ее ударил, . . . но, по-русски, ударил — еще не бил!

Сидѣть на облучкѣ, зная что любовница находится «с глазу на глаз» в одной клѣткѣ с другим самцом, не весело, и особенно первое время, он вѣроятно не раз, являлся сверх программы. . . но, «поймать» нас было, разумѣется, нелегко.

Сырдин давно бывал у них и возможно, что когда мнѣ было нельзя, она сидѣла за него у телефона.

Так обстояло дѣло до послѣдних дней.

Нечего и говорить, что я, как и всю жизнь в подобных случаях, чувствовал себя придавленным этой виной без вины. . . но мѣнять из-за этого квартиру я уже

не соби́рался, . . . потому-что, гдѣ я не оказывался в подобном-же положеніи!

Я мечтал встрѣтить шоффера в коридорѣ и познакомиться, но случая не представлялось, да по обоюдной упрямости, едва-ли бы что из этого и вышло!

К тому же, в самое послѣднее время, в нашем околоткѣ, произошло убійство на романтической почвѣ, что еще увеличило напряженіе, подозрительность и страстность всѣх любовников.

. . . Но, встрѣча-то все-таки произошла, . . . вот сейчас!

Лежа нѣсколько дней не ѣвши, с кислой мутью во рту, я ощущал лишь жажду, для удовлетворенія которой, пользовался водой, принесенной до болѣзни.

Но на четвертый-пятый день, рѣшил ее перемѣнить.

Одѣт я был, как всегда, в рубище и, конечно, не брит.

С кувшином воды, я уже возвращался к себѣ, но привлеченный, сразу оказавшимися за спиной шагами на резиновых подошвах, оглянулся. . . и шофер, к счастью не потерявшій самообладанія, юркнул в № 00.

. . . М.-б. во всем этом ничего особеннаго и не было, за два года он мог узнать о многом, наблюдая, например, из своего такси, на ночной стоянкѣ, против нашего дома, когда я ухожу и возвращаюсь, но мнѣ кажется, что какой-то этап, все-таки пройден, и что атмосфера разрядилась!

. . . И тѣм лучше, знаете-ли, дорогой Дмитрій!

*Тѣм лучше!!*

*Н. Татищев.*

## ОТСТУПЛЕНИЕ.

Наше войско отходило от Днѣпра в сторону Крыма. Отступали, рассыпавшись в цѣпи, длинныя линіи людей. Солдаты держали винтовки в руках, они шли, как охотники на облавѣ. Между лѣшими возвышался всадник или телѣга под полотняным навѣсом с красным крестом. Над равниной стоял сплошной гром от канонады. Пушки стрѣляли по нас с другого берега, с островов и даже из самой Каховки. Справа и слѣва, спереди и сзади взрывалась вулканами черная земля. Всѣ понимали, что не слѣдует сбиваться в кучи; если замѣчалась группа, значит это чины штаба, или двое солдат помогают идти легко раненому. Среди общаго прохота можно было различить извѣстный ритм: та батарея, которая крыла по нас, выпускала через равныя промежутки времени два снаряда направо, два налево и одну шрапнель над головой. В четырех мѣстах появлялись столбы взвихренной земли, точно джины из «1001 Ночи» пытались взметнуться до неба, но не хватало сил и они снова рассыпались в прах. Андрей, подѣхав, кричит слегка срывающимся голосом: Чудно! Какая отчетливость! Бам... бам — интервал — пах... пах. Новая музыка, негритянскіе танцы.

Дойду ли я до той канавы? Боже, спаси и помилуй! Очередной взрыв немного впереди скрыл двух людей; когда столб разсѣялся, шел только один. Рядом в санитарной повозкѣ хрипит тяжело ранекый взводный Власов. Утром он был примѣрным унтером: рослый, усатый, с начищенными сапогами и пуговицами. Сейчас это раздавленная куча из тряпок и чего-то вязкаго, от которой всѣ сторонятся. Тигр превратился в лягушку. Он лежит, кажется, на спинѣ, слабые пальцы хотят что-то схватить или оттолкнуть, как у младенца. Еще утром он кричал на солдат: Какая там б. . . в хвостѣ курит? льстил командиру, всюду появлялся, веселый, расторопный. Охотился за бабами в Основѣ, может-быть успѣл переночевать у одной. На стоянках обучал солдат патриотическим пѣсням. Сейчас он узнал, что вся жизнь его была нелѣпа и что бодрость и патриотизм перед лицом смерти — вредная чепуха и ложь. Два взрыва, один совсѣм близко, другой подальше. Меня надо сохранить. Я еще могу быть полезен. Боже, клянусь, обещаю Тебѣ, что я это сдѣлаю. Если я дойду до хутора, я уйду от них. Р-р-раз. И опять эта слабость и пустота, тошнотворная приниженность всего тѣла к землѣ. Распластаться и зарыться поглубже в яму, ниже травы, слиться с черноземом, может-быть визжать. Но глупое тѣло еще соблюдает приличія: оно не ложится в канаву, гдѣ могло бы спастись, но перепрыгивает через нее и идет дальше, только если взрыв очень близко, голова едва замѣтно втягивается в плечи.

Дальний хутор, как мираж, чуть поднялся над горизонтом, стоит будто среди озера. Туда снаряды не долетают. Там сказать Андрею: Прощай, я уѣзжаю,

мнѣ плевать, что будут говорить, что буду дѣлать, не знаю, возможно, что пойду в монастырь, но во всяком случаѣ больше в этом дѣлѣ участвовать не желаю. До лиловаго репейника шагов 20, это как 20 лѣт, 20 раз можно умереть. Если дойти до него, не останавливаясь сорвать нѣсколько колючих цвѣтов, сколько удастся на ходу, скатать шар и не оборачиваясь бросить его назад через плечо, подальше, тогда спасен. Господи, помилуй. Заступись, спаси, помилуй. А вдруг все кончится благополучно и вернусь к старым штукам? Да не будет этого.

Затишье на нѣсколько секунд и опять ураган с новой силой. Вот тут-то на исходѣ я и погибну, это всегда случается, когда главная опасность миновала. Сзади чей-то гнѣвный голос: Что за бардак убитых оставлять? Сидоренко! Абдулрахман! . . . В небѣ шум машины, высоко как ястреб кружит аэроплан, неизвестно чей. Новое ощущение: торжественная серьезность, глубокая значительность всего того, что происходит вокруг. До сих пор все были пустяки. Я любовался природой, пейзажем, но это была ложь, как «Боже Царя Храни» у Власова. Теперь будет по новому, на хуторѣ додумаю, пойму. Огонь несомнѣнно ослабѣвает. Наши цѣпи спустились в лощину и перестали быть видимы с той колокольни, откуда непріятельскій наблюдатель с телефоном руководит обстрѣлом. Снаряды теперь ложатся рѣше и дальше.

Я осмотрѣлся. Невдалекѣ шел прихрамывая Диди, невысокій, сутулый. Незнакомые солдаты шагали по травѣ, сосредоточившись, в глубокой задумчивости. Длинная фигура всадника ѣхала рысью наперерѣз цѣпям. В наступившей тишинѣ вдруг раздалось веселое

ржанье. Хохот, крики «мать-перемать» неслись от кучи солдат, куда со всѣх сторон подбѣгали другіе. Это громили двуколку с захваченными из Каховскаго кооператива товарами. Пустыя гильзы и листы папиросной бумаги носились в воздухѣ, переворачиваясь, как хлопья снѣга или как бѣлые мотыльки. Коробки с дорогими крымскими папиросами лежали раздавленные в травѣ.

Хутор, куда мы пришли, оказался оставленным своими хозяевами. Здѣсь было нѣсколько пустых строевых, отдѣленных от степи изгородью, и сторожили их два пирамидальных тополя, видимые за десятки верст. На дворѣ было чисто, не осталось ни телѣг, ни скота, ни птицы, все было вывезено владѣльцами или проходившими раньше войсками. Под окнами чахли давно не политые листья настурцій и табака. На огородѣ пышно разраслась голубая капуста. Между грядками уже бродили солдаты, напившіеся у колодца, высматривая луковицу или морковину. Новый Власов с черными усами шарил по погребам, не запряталась ли гдѣ бутылка водки, кусок мяса или не успѣвшая бѣжать дѣвка-работница. Нѣтъ, ничего не осталось. Единственное, что еще есть — вода в колодцѣ, но и ее скоро всю выпьют. Безпрерывно скрипит колодезное колесо, и ведро за ведром поднимается из-под земли. Перед колодцем стоит очередь наших и чужих солдат. Пьют прямо из ведра, фыркают, наливают во фляги, окачивают голову. За забором сразу равнина, на ней желтая скирда, подпертая шестью. Под соломой с тѣневой стороны устроились пулеметчики, они уже разложили костер варить чай. Мнѣ предлагают кусок хлѣба с луком, извиняясь, что не успѣли захватить ничего лучшаго.

Они уютно расположились, сняли свои французскіе шлемы, развалились и курят кооперативныя папиросы. Вот уже замелькали карты и появилась бутылка с мутной жидкостью — самогоном. Налили этой жидкости и мнѣ  $3/4$  чайнаго стакана. Мелкими глотками переливается в горло отвратительная теплая микстура. «Первый глоток колѣм, второй соколѣм, остальные легкими птицами». Не останавливайся, чтобы скорѣе изнутри ударило в затылок и мѣръ просіял полными красками. Та же голубизна и золото вокруг, но насыщенные до краев, до почти невыносимой густоты, в гармоніи с запахами высыхающей травы, мяты, дегтя, лошадиного пота и уже не противнаго алкоголя. Остановиться нельзя, поздно уже, да и не надо. Я впервые отравился алкоголем, четыре года назад, в Муравьях. Это была очень жуткая ночь; казалось, что сходишь с ума или уходишь в дебри, не успѣвая ставить на пути замѣтъ для возвращенія. С тѣх пор я всегда пьян, то больше, то меньше, но окончательно не протрезвился ни на одну недѣлю.

Стало совсѣм тихо. За хутором рыли землю. Последніе раскаты боя давно замерли. Степная птица закричала в травѣ. В вечернем огнѣ дальнія копны и курган стали похожи на камни, на огромные валуны, упавшіе с неба. Нѣсколько лошадей, привязанных к телѣгам, уныло жевали. Каски и шашки на травѣ могли сойти за вооруженіе воинов из древних эпох. Самогон пахнет паровозом, он удушливый, теплый, но от него становится радостно и свободно. Зароились разныя утѣшительныя мысли о благополучіи этой легкой жизни среди степнаго ковыля. На сегодня сошло, а завтра боев вѣрно не будет, раз что уходим в Крым. Хотѣлось



от легкости бѣжать куда-то, говорить с Андреем про «войну и буддизм», но я знал, что блаженное состояніе сохранится дольше, если не двигаться с душистаго сѣна.

Мысли, легкія, ясныя, значительныя библейскія мысли, за ними не угнаться. О давно прошедших временах; о жизни человѣка, дни котораго как трава и так же безслѣдно мелькнут по землѣ. Кто через нѣсколько дней вспомнит Власова, котораго только-что зарыли за яблонями? Его семья вѣроятно давно, еще с германской войны, считает его навсегда пропавшим. Так легко прошли по здѣшней землѣ тысячи поколѣній, не оставив ничего, кромѣ курганов, которые теперь перепаживаются и засѣваются пшеницей и кукурузой, так что через нѣсколько столѣтій они опять сравняются со степью. Так пройдем и мы, Диди, Андрей с его грандіозными планами, да и я. О, утѣшительная сладость степи с курганами для всякаго человѣка, для военнаго в особенности! Все кончается в свое время и я отнынѣ буду жить так, чтобы ничѣм не отличаться от самаго неизвѣстнаго из моих предков.

Мѣдное солнце скрылось наконецъ за окаменѣвшей степью. Начало быстро темнѣть, зажглись звѣзды. Шесть солдат, вызванные поименно вахмистром, неохотно поднимаются, нацѣпляют оружіе и уходят куда-то в темноту, в охраненіе. Как свѣтляки, в травѣ свѣтятся папиросы. От колодца доносится чья-то ругань из-за того, что нѣтъ больше воды, и чей-то голос оправдывается, что и так лошадям дали только по полведра, что умываться ей-Богу никто не умывался и что к утру воды набѣжит достаточно. У забора кто-то мочится. Около костра кто-то кому-то плетет медли-

тельный рассказ, и ясно слышен кусок непонятной фразы: это тебѣ не корова, друг. Не корова, да и не собака.

Наступила ночь, но заснуть не удавалось. Мѣшало возбужденіе, голод и слишком большая усталость. У костров нѣкоторые солдаты в таком же состояніи курили и переговаривались, другіе уже затихли. Непременно надо было заснуть, чтобы бодрым встрѣтить новый день, от этого на войнѣ зависит многое. Приходи же, сон. Лежать тихо и не шевелиться, тогда сон придет. Как это было? Мы шли, шли. Я дал обѣтъ уйти в монастырь. Многие из нас в трудныя минуты давали такіе обѣты, почти всѣ вѣроятно. В бѣлом храмѣ, на сѣверѣ, Кудеяр замаливает свои грѣхи. Весь город Ярославль был виден на высоком берегу Волги, когда я выходил на лыжах из лѣса. Сперва разбѣгались мѣщанскіе домики поселка, розовые и желтые, в три окна, с дымами, уходящими в небо вертикальной струей; в одном из них я бывал, у гимназиста Савицкаго. Дальше снѣжная равнина Волги с чернѣющими кое-гдѣ одинокими пѣшеходами или обозом саней. На другом берегу на холмах расположился город с нашим домом, с бульварами и колокольнями. Я уйду в самый захудалый монастырь. Не худосочный епископ, князь церкви, а коренастый сѣрый монах идет на лыжах в лѣс за дровами или весной копается на огородѣ среди берез. Церковныя стѣны были тогда свѣже покрашены к ожидавшемуся весной высочайшему пріѣзду по случаю трехсотлѣтія дома Романовых. Купола отличались чрезвычайным разнообразіем форм и окрасок. Были синіе с серебряными звѣздами, зеленые с красными разводами, золотые, выложенные рыбьей чешуей, ку-

пола в видѣ пасхи, кулича, яйца, груши, луковицы, похожіе на головы персидских вельмож в чалмах и тюрбанах. Толстые купола на тонких гусиных шеях, на вид тяжелые, на самом дѣлѣ легкіе, пустые как воздушные шары. В снѣгу и на морозѣ эта архитектура казалась мнѣ великолѣпной, и я зарывался лицом в сугроб: благодарю Тебя за жизнь. Когда спускался вечер, над переулками звонили колокола. Каждый квартал имѣл свой храм. И улицы носили не легкомысленныя названія, как в Европѣ: *rue des Mauvais garçons*, *rue du Chat qui pêche* — на улицѣ с таким именем мои предки не поселились бы — а серьезныя, церковныя: Трехсвятительская, Духовская, Козьмодемьяновскій переулок. За всеобщей иногда охватывало чувство спокойствія, защищенности, безконечнаго уюта. Как в поѣздѣ ночью, когда наверху мигает, качаясь, синій ночник и натопленный вагон переваливается, как слон на просторах, между Астраханью и Архангельском. Тогда терялась нить богослуженія и было странно, придя в себя, обнаружить, что все еще не кончилась короткая Просительная Эктинія. Стоять надо не прислоняясь к колоннѣ, не потакать своей усталости. От тренировки выстаивать службы с каждым годом становилось легче. Через час все в тебѣ утрясется и успокоится, боль в спинѣ пройдет, и спустится тишина Вечерняго Свѣта. Из своего угла замѣчаешь игру воскового свѣченія на цвѣтных эмалях, сквозь фимиам. Чтецы читали тогда невнятно, не так как теперь, далеко не все можно было разобрать, и среди бормотанья кафизм лишь по временам выплывал знакомый текст, ясный, круглый, ветхозавѣтный: «Человѣкъ яко трава, дни его яко цвѣтъ селній», то-есть полевой цвѣток. Или: «беззаконія мои

аз знаю и грѣх мой пред Тобою есть вину. Тебѣ Единному согрѣших и лукавая пред Тобою сотвориш. Ибо в беззаконіи зачат есмь и во грѣсѣх роди мя мати моя». . . И вот уже конец, а я бы еще постоял часа два; запѣли «Взбранной Воеводѣ», и послѣднія старухи снимаются с мѣст. Стоя в самом темном углу, я боялся, что вдруг случайно войдет и обнаружит меня один из гимназистов: Сыропятников, Галактіонов или Савицкій. Они меня считали порядочным человѣком, так как я участвовал в субботних собраніях. На всякій случай придумывал оправданія: наблюдаю толпу, изучаю фрески. Но этот страх мѣшал сосредоточиться. И вот теперь тот самый Савицкій подъѣхал верхом, когда я лежал на сѣнѣ. Когда он подъѣзжал, высокій всадник под звѣздами, я его сразу узнал, хотя раньше я не слышал, что он воюет в наших рядах. Я рѣшил его не окликать — столько лѣт прошло, и о чем мы будем говорить, но он сам разглядѣл меня в темнотѣ. — Лежишь, брат? Ну как? Да ничего, а ты как? Да скорѣй так себѣ, хотя в общем недурно. Вот ты какой стал, настоящей кавалерист, посадка. . . Ты что, всегда что ли был военным в душѣ? А ты сам? . . . Это, брат, не корова хвостом вильнула, сказал Савицкій чужой фразой, заимствованной у какого-нибудь полковника. Потом он уѣхал в темноту, а я продолжал засыпать и вызывать искусственныя сновидѣнія. Было душно, звѣзды над головой и лошадиныя ноги поблизости. Сѣно заползало за ворот, щекотали колючіе стебли, шершавые листья и травяныя насѣкомыя. Раз, очнувшись, замѣтил, что костер потух и кастрюля Большой Медвѣдицы значительно передвинулась на горизонтѣ. Потом лошади перестали жевать и одна из них легла.

Посвѣжѣло и стало свѣтать. И вдруг послѣ болѣе продолжительнаго забытія сразу наступил новый день — 19 іюня 1920 года. Он пришел в духотѣ и зноѣ, и за густой завѣсой над равниной не было видно восхода солнца. И он не принес отдыха: закричали «подъем» как раз в ту минуту, когда удалось бы заснуть по настоящему.

Мы пошли куда-то в сторону, не в Крым. Взвод за взводом потянулись заспанные люди мѣсить ногами пыль, под сѣрым небом, по сѣрой степи. Степь: трава бурая, трава рыжая, безцвѣтныя дали. Голова была такая тяжелая, что не особенно поразило то, что сообщил Андрей: — Тебя нашел этот, как его, артиллерійскій капитан, Соловьев, что-ли? Который всѣх перебудил, всѣх спрашивал, гдѣ ты находишься? Что он тебѣ сказал? Так он убит. Пред разсвѣтом, вон там, в заставѣ. — Степь: кое-гдѣ цвѣты, лиловые, сѣрые, розовые, но все тусклые, выжженные, обезцвѣченные. Колючіе, сухіе, двужилъные, идущіе на приправу к баранинѣ; тмин, укроп, петрушка. Мы уже давно шагали, маршировали по узкой дорогѣ через пыль, как по песчаному руслу пересохшей рѣки. От пыли все вокруг увядало. Сѣрые дымы клубились над степью. Наши взводы плыли по шею в пыли. Равнина распадалась, трескалась и дымила сухим туманом. Мір без влаги разсыпался на атомы. Изрѣдка раздавались подземные толчки, приглушенные взрывы. Было пусто, никого, ни красных, ни зеленых, ни бѣлых, только мы, небольшая куча сѣрых. Раза два мы обогнули высохшіе колодцы. Сперва шли по прямой линіи, потом завернули, потом стали кружить. Долго лавировали между двух стогов, шагали обратно. Гдѣ тыл, гдѣ непріятель, и ку-

да идем, вѣроятно не знал сам командир, однако не показывал вида: шел среди нас, невысокій, полный, прихрамывающій. Вот справа остался хутор с тополями, совсѣм похожій на тот, гдѣ мы ночевали. Потом около дороги появилась роща молодых деревьев, посаженных правильными рядами, как на старинных картинах, изображающих рай. Тут я сказал прапорщику Муравьеву, который только на-днях был произведен из вольноопредѣляющихся и еще не совсѣм свободно чувствовал себя в новом положеніи: Сегодня вечером в такой рощѣ ты будешь танцевать негритянскій танец, обнявшись с капитаном Савицким.

Мы спустились на дно оврага, гдѣ не было ни влаги, ни тѣни. Солнце теперь проникало всюду, огненный шатер покрыл все: нашу группу, прятанннйся гдѣ-то по сосѣдству Днѣпр, Харьков, Москву, море сзади под песчаным обрывом степи. Брось все, оставь это дѣло, возвращайся в Крым, заведи сад с виноградником, Андрей не найдет тебя. Но Крым ненадежное убѣжище. Тогда уѣзжай за море и устрой себѣ солнечный сад в Италіи. Можешь жениться. Для русскаго графа, молодого, знающаго языки, это просто, и миллионерша не обязательно вдова и урод. Степь: ванна из пыли и огня. Лиловые острова. Купанье в брызгах чернозема, омовеніе пустынь. Идти, идти. Лѣвой, правой. «Глубокой обход», сказал кто-то, и впереди мы увидѣли, как мираж, не крымскія горы, не Азовское море, а знакомый силуэт города с тремя колокольнями: вчерашній Береславль на том берегу невидимаго пока Днѣпра. Потом, чуть спустившись, мы уже не видали его, но каждый узнал, что мы снова вступили в зону сраженія. Около полудня был сдѣлан привал, в низи-

нѣ, у виноградников. Рядом с нами расположились откуда-то появившіеся офицеры из штаба дивизіи: Черепанов, Цуйманов, подтянутый Фуфаевскій и другіе. Они пригласили нас закусить с ними, и хотя у них была водка, это сосѣдство не предвѣщало ничего хорошаго; можно было теперь ожидать, что появится начальник, генерал Гурьев, и скажет, увидя Диди: А, полковник, вот кстати, только что хотѣл послать за вами, не угодно ли вам будет атаковать вон тот участок.

Штабной поручик Фуфаевскій, всегда бодрый и готовый по первому зову начальника штаба Ардальонова срываться и бѣжать куда-то, распорядительный, худой, похожій на официанта из дорогого ресторана, отпил из металлическаго стакана и сказал: Здравія желаю, и понизив голос: — В Мелитополь ждут Главкома. Надчив полагает, что завязывается послѣдній, рѣшительный. Стянули Донцов, цвѣтных, тяжелую артиллерию. Прорвем и айда за Днѣпр. Всѣ пути ведут в Москву. Еще прикажете? Лучшее средство против жары. Полковник Черепанов? Не угодно ли флакон легкаго Крымскаго. Исламѣдинов! Тащи из моего выюка подкрѣпленіе! Еще по предпослѣдней.

Все коричневое и лиловое соединилось в торжественной гармоніи полуденнаго затишья. Тяжелый бронзовый шмель жужжал над землей между нашими сапогами и цвѣтами клевера. Война осталась в сторонѣ, перешла на другую планету.

— Много нельзя, сказал Черепанов, хотя впрочем, гдѣ наше не пропадало. Закупорим дырку и заткнем Сиваши. — Что это вы, дядя, мелете, перебил Фуфаевскій, с таким неподдѣльным испугом, что всѣм стало смѣшно. Чорт знает что мелете, гдѣ Сиваши, а гдѣ

Днѣпр. . . Впрочем. . . еще по одной. Замѣтано. Отдых длился около часу, послѣ чего мы разстались со штабными и пошли в другом направленіи; в сторону выстрѣлов. Как всегда, когда приближаешься к линіи огня, шли с остановками, во время которых Андрей уѣзжал вперед высматривать позиціи. Теперь мы были в районѣ больших виноградников, что указывало на близость села. Наконец, мнѣ намѣтили участок, все около того же виноградника. Мой взвод залег в резервѣ, на склонѣ — впереди шел бугор с кустами, как при первом моем сраженіи, в прошлом году. Направо, на далекое разстояніе, были видны наши цѣпи, черныя фигуры лежащих солдат, иногда пропадавшія в травѣ или в складках мѣстности. Рядом, как и вчера, оказались спѣшенные гродненскіе гусары, за ними бригада Марковцев. Пулеметчики в кого-то стрѣляли, но не часто, берегли патроны. Голенища сапог, приклады, камни на полѣ, все так нагрѣлось, что обжигало руку; я думал, что за эти дни удастся хорошо загорѣть, и старался дремать так, чтобы не было замѣтно со стороны. Вдруг меня окликнула густой генеральскій голос, и сам начдив Гурьев подошел ко мнѣ. Он был один и имѣл вид благожелательный. Он сдѣлал мнѣ знак продолжать сидѣть и, так-как я все-таки порывался встать и рапортовать: — ваше превосходительство, во ввѣренном мнѣ пулеметном взводѣ 2-го эскадрона Н. . . Кавалерійскаго дивизіона происшествій не случилось — уперся в мое плечо с погоном и сам сѣл рядом со мной.

— Ну, как у вас? Люди не очень устали? Вам еще повезло, удалось поспать ночью. Зрительная связь с правым флангом, я вижу, есть. Главное — не нарушить общей линіи, когда пойдете вперед. Ну да, в вас я



увѣрен. Конечно, в пѣшем строю для кавалеристов. . . ничего, потерпите: на той недѣлѣ дадим вам лошадей. Здѣшняя обстановка напоминает мнѣ один случай в Японскую кампанію. Отряд самураев засѣл в кустах у рѣки, вон как они сейчас, но то были самураи. Мы тоже спѣшны, прокрадываемся справа, казаки захватывают слева, и что вы думаете? Всѣх. Поголовно. Послѣдніе сами один другого перестрѣляли. Но там, конечно, другое дѣло. Однако пойду дальше. Главное, всей цѣпью, давить, жать, жать. И смотрѣть вправо, скажем, гусары залягут, вы еще немного пробѣжите, потом они поднажмут, потом вы, не отрываясь, и так дальше. Ну, да вас нечего учить, за ваш участок я спокоен. Надо еще гусар посмотрѣть. Не безпокойтесь, до-свиданія. Всего хорошаго, граф.

Оставшись один, я ощутил прилив бодрости и стал хотѣть, чтобы поскорѣе перешли в атаку. Огонь не усиливался и не ослабѣвал. Прошло еще около часу. Неожиданно для меня, так-как я не слышал команды, мои сосѣди по обѣ стороны вскочили на ноги, сорвались, и одни с винтовками на перевѣс, другіе, волоча пулеметы и круги, побѣжали вперед, вверх, один за другим, ныряя в виноградник. Они бѣжали, пригнувшись, щелкая затворами, и я вспомнил рисунок в старом журналѣ: нападеніе хунхузов на желѣзно-дорожную насыпь. Но вдруг Гурьев наблюдает, а я остался сзади. . . И я сорвался и скоро обогнал всѣх. За подъемом оказался огород и крыша сарая, но солдаты почти тотчас же залегли у канавы и забора, отдѣлявших виноградные кусты от зарослей гороха.

До сарая было недалеко, шагов сорок. Половину этого разстоянія за мной бѣжали, но все время сзади

увеличивалась пустота. За кольями, увитыми ползучим горохом, которые на пути я разбрасывал и давил, оказалась открытая лужайка с зеленой травой. Сарай стоял сбоку, наискось, к нему по травѣ вела тропинка, потом она сворачивала и спускалась к вѣтлам и ивам. Наверное там рѣка и тут раньше бабы ходили за водой. Да, внизу за ветлами блеснул Днѣпр. Стало пусто и тихо.

Но я не один на полянѣ, рядом высокій унтер из прошлогодних, Ковалев, из 1-го эскадрона. Со странным выраженіем глаз — точно происходит какая-то ошибка этикета — он говорит: Господин корнет, у меня вышли патроны. Может-быть глазами он хочет мнѣ показать что-то, чего я не замѣчаю. — Ничего, Ковалев, идите так. — Слушаюсь, господин корнет. И только тут я замѣчаю: около нас еще солдаты, но спереди. Как они успѣли забѣжать?

Трое или четверо перебѣжали перед нами тропу под вѣтками, таща пулемет. Одновременно откуда-то сбоку выскочил и обогнал меня с Ковалевым прапорщик Муравьев, загорѣлый, в бѣлой гимнастеркѣ, в англійской фуражкѣ. Он что-то кричит на ходу — кажется, ура.

На какой-то промежуток времени все замерло на зеленой полянѣ. Я понимал, что происходит что-то очень значительное во вселенной, какое-то торжество, вроде того момента за литургіей, когда послѣ возгласенія іерея: «Твоя от твоих» хор медленно начинает: «Тебѣ поем». Это почувствовал, повидимому, и Ковалев, замершій на мѣстѣ с просвѣтленным лицом. Он стоял как бы в нерѣшительности: стать на колѣни, или не

надо? Кажется, задержался на бѣгу и Муравьев. И все застыло в таком восторженном покоѣ, что я вознегодовал на Муравьева, который первый нарушил его, точно не выдержав напряженія: он взмахнул рукой и обернувшись посмотрѣл на меня, прямо в глаза, с видом какой-то досады или укоризны. Одновременно из-под сучьев загрохотало. Как в замедленном кинематографѣ Муравьев начал неестественно медленно падать на спину; вот он на землѣ, лежит слегка на боку, но все еще с вытянутой рукой. Ковалев качнулся, сказал «эх» (или что-то в этом родѣ) и упал вперед. Меня отбросило вбок, за сарай.

Та же лужайка, но с другого пункта, из-за сарая. Ковалев лежит, уткнувшись лицом в траву. За сараем, оказывается, бойко разросся кустарник, здѣсь почти темно, солнечныя пятна трепещут по землѣ. Рѣки отсюда не видно, Муравьева тоже. Ужасно трещат выстрѣлы, голова моя однако, кажется, цѣла.

Но вѣдь в меня могут попасть сзади, свои. Но вот что самое важное. Земля здѣсь идет отвѣсно вниз, под кустами овраг и, кажется, глубокой, котораго я сперва не замѣтил. На днѣ его растает бузина.

Там было сыро, темно и защищено от пуль. Сильно, но не слишком, болѣло плечо, бок и колѣно — не помню, как и обо что ударился, о сарай или о землю, когда меня швырнуло.

Вдруг я оказался в странном одиночествѣ, непричастным к войнѣ, отдѣленным от наших и от непріятеля. Всѣ исчезли. Их стрѣльба удалялась. Я жив и, кажется, не ранен. Двое со мной убиты, меня отшвырнуло, сзади видѣли, что я не сам бросился в кусты. Но теперь жить, жить, во что бы то ни стало. Я сѣл

на землю, в глубинѣ оврага. Под бузиной пахло гни-  
лью, торчал корень, лежала шишка, яичная скорлупа,  
черепок тарелки с синим узором: огромный мір, зага-  
дочный мір живых вещей.

Я когда-то начал правильно жить и потом забыл.  
Вернуться к самому началу, до того, что началась пу-  
таница, к первому, в раннем моем дѣтствѣ, кусту бу-  
зины. Схватишь его за вѣтку, тебя обрызгают капли  
дождя, недавно пролившагося над домом. От дома  
слышны голоса, а под бузиной свалочное мѣсто, куда  
бросают яичную скорлупу и картофельную кожуру, и  
там копошится щенок, сын Плевны и Карса. Прямо от  
земли, от жилистых корней расходятся корявые сучья.  
Взбираюсь, кряхтя и падая, сѣдлаю сук, ѣду верхом.  
Страшныя опасности миную, частью хитростью, частью  
отвагой. В самые рискованные моменты закрываю на  
миг глаза, и вот уже катастрофа миновала.

Я тогда начинал правильную жизнь, в реальном мі-  
рѣ вещей. Теперь я вспомнил это и, может-быть, мнѣ  
удастся спастись. Овраг уводил от рѣки, как мнѣ по-  
казалось. Я пошел по дну его, ломая и разгребая ку-  
сты, обдумывая, как поступить, если наши отбиты и  
я окажусь в плѣну. Из того міра, сверху и со стороны,  
донеслось «ура, ура» попеременно с руганью и выстрѣ-  
лами. Если наши ушли, я срѣжу погоны, сброшу ко-  
карду и выйду ночью, даже завтра, из этого зеленого  
прохладнаго убѣжища.

Я, оказывается, крѣпко связан с міром, кусты и ов-  
раги защитили меня лучше, чѣм Ковалева, Савицкаго,  
Муравьева и стольких других, лучше, вѣроятно, чѣм  
Андрея. Земля опять уберегла меня. За какія заслуги?  
Ради каких новых подвигов?

Я провел в кустах много времени, нѣсколько часов, кажется, во всяком случаѣ дольше, чѣм слѣдовало в моем положеніи, и только под вечер взобрался по откосу и посмотрѣлъ на мір сквозь листья. Было пусто, тянулись огороды, за ними хаты. Это были задворки все той же деревни и, высунувшись подальше, я увидал сарай и лужайку, теперь как будто пустую. Людей долго не было видно. В чьих же руках эта деревня? Если всѣ войска ушли, непонятно, почему прячутся жители.

Наконец, за огородами прошел человек, ведя в поводу лошадь. Теперь всѣ сомнѣнія отпали: спасен. Ясно видны были казачьи лампасы и погоны. Выждав, что он удалится, я вышел и пошел в деревню.

Первых, кого я встрѣтил на улицѣ, были Иванис с группой моих пулеметчиков. Они встрѣтили меня радостно, их лица выражали одобреніе моей отвагѣ. Но я сердито сказал им:

— Ну что ж вы застряли на огородѣ или в виноградникѣ, черт возьми! Да к тому же чуть не попали в меня, когда меня отбросило к сараю, так что щепки летѣли и солома на крышѣ с моей стороны. Имѣйте в виду, чтоб больше это не повторялось! Убитых по крайней мѣрѣ, вынесли? Или оставили, по вашему обыкновенію? . . .

*Анатолій Алферов.*

РОЖДЕНИЕ ГЕРОЯ (отрывок из романа).

*Я не знаю что там — за чертой,  
Откуда явился герой;  
Говорят — пустота,  
Говорят — темнота,  
Говорят, что рождаются на свѣт,  
Чтоб пред Богом держать отвѣт;  
Но родиться так тоже могла-б  
Пустая, бездонная мгла.*

*В. Мамченко.*

В жизни каждого человѣка наступает пора *ощути-маго* внутренняго роста. Человѣкъ попадает в луч ка-кого-то таинственнаго прожектора. Всякая соринка в нем начинает свѣтиться. Весь неиспользованный опыт *проявляется* в сознаниі, — теперь это уже не «мутъ», не «хлам», а живая сила. Человѣкъ вдохновенно рвется в бой. Сотни планов и тысячи идей. Мір кажется адом с райскими возможностями.

В жизни парижанина, Валентина Егорова такая по-ра наступила зимою 1930 года.

Но почему ея приход совпал именно с указанным годом, — по каким неизрѣченным законам бытія это

вообще случилось, — было-ли начальное происшествіе, о котором пойдет рѣчь, только поводом. или оно явилось и причиной, в сущности породив героя, — автор не знает. Не знает и герой.

Во всяком случаѣ из людской массы Егоров выдѣляется и попадает в роман — к началу происшествія, т. е. когда под вечер одиннадцатаго сентября, шагая по улицѣ Лекурб, он только-что пересѣкъ Камброн.

В глазах автора к тому времени он еще не имѣл исчерпывающих, отличительных признаков. Опредѣляло его не по возрасту юное и не по настроенію пасмурное лицо — и только. У него не было ни фамильной родинки на щекѣ, ни характернаго шрама поперек лица, который говорил-бы без слов о его причастности к гражданской бойнѣ, ни тика, ни особой походки с каким-нибудь показательным вывертом; голос у него был вполне заурядный, костюм — тоже (а не перелицованный, не с продранными локтями), и небрежным жестом он не извлекал из кармана портсигара, чтобы закурить (портсигара у него вообще не было), — иными словами, его нельзя было-бы изобразить двумя-тремя штрихами, и живым он от этого не стал-бы. Но неподатливость оформленію только подчеркивала подлинность его натуры. Он был уже человѣком в самом неограниченном смыслѣ этого слова, — самобытным и свободным и мог даже по собственной волѣ выключиться из литературнаго плана. Разумѣется, как всякій свободный человѣкъ, он плохо владѣл своей свободой, еще не догадываясь, перед какими увлекательными и трудными задачами она могла-бы его поставить. Так, стоило ему хотя-бы немного отклониться от предначертаннаго пути — стать, напр., в очередь за вино-

градом, который в описываемый момент прельстил его своей несообразной свѣжестью, — чтобы «формула міра» уже измѣнилась, автор тотчас-же усомнился в своем призваніи и тѣм привел героя в совершенно невозможное состояніе. Но этого не случилось: молодой человек неуклонно шел по Лекурб навстрѣчу судьбѣ.

Он шел базарным рядом по киснувшим в подножной грязи капустным листьям мимо крытых передвижных лотков и лавок, заваленных фруктами и овощами, рыбою, битой птицей; мимо румяно-багровых, раздутых исподним тряпьем и осипших от выкриканій торговых; — дряхлых оборванцев, потерянно сующих под нос костлявую руку с пучком чеснока или шнурками для ботинок; мимо сладко улыбающихся из витрин свиных рыл и одиноко млѣющих в прохладном полумракѣ, разукрашенных словно под вѣнец нѣжно-алыми и голубыми лентами, бараньих туш. Кругом него желчно надрывались клаксоны. Цѣлая лава колес, рычагов, резиновых шин «яростно» ползла вдоль тротуаров. Иногда ухо улавливало язвительные и бессмысленные, тотчас-же утихавшіе протесты. Взгляд без задержки пробѣгал по назойливо-живописным товарам. Егоров ни о чем не думал, погруженный в смутную игру каких-то своих полу-музыкальных, недоразвившихся чувствованій. Время от времени эти чувствованія, перескакивая через базарную вакханалію, обращались в довольно плоскій образ: ему, напр., представлялось, как он сейчас ляжет и отдохнет, или в каком платьѣ его встрѣтит сегодня вечером Галина Сергѣевна; а то вдруг запах от рыбы и водорослей на мгновеніе подпольно связывали его с морем, которое он не любил, хотя и был в свое время матросом. Все это ему однако не



мѣшало с удовольствіем подставлять небритыя свои щеки и голубые глаза под свѣжій (совсѣм почти морской) вѣтер. Под колѣнями у него пріятно ныло, и все тѣло, перемѣстившись из рабочаго костюма в городской и из затхлаго подвальчика на улицу, в каждой ощути-мой точкѣ испытывало такую-же усталую, разочарованную немного радость. В этом мутно-обманчиво-радостном настроеніи и с тѣм-же пасмурным лицом он принялся насвистывать популярный фокстрот «Китайскія ночи».

Французская мелодія понемногу привела его в себя. Улица ему уже не казалась тусклым орнаментом неизвѣстно к чему. Все стало отчетливым, разбросистым, уродливо-цѣлесообразным, значительным и вполнѣ соотвѣтствующим тому, что было показано. Даже шмыганье собственных подошв по грязи теперь долетало до слуха и было важно. Он уже мог видѣть себя извнѣ, как-бы оброс плотью, превратившись в болѣе доступнаго пониманію человѣка. Когда припѣв — «... китайскія ночи, ночи нѣги, ночи любви...» — был отсвистан, ощущение нелѣпой цѣлесообразности возрасло. Ему стало вдруг *обидно* за людей.

Можно предположить (поскольку не безразсудны вообще попытки осмыслить человѣческую судьбу), что вся натура Егорова в тот момент под разными предлогами *требовала* энергическаго внѣшняго на себя воздѣйствія, — что требовалось катастрофическое происшествіе, чтобы раскрыть ему смысл свиних улыбок, скрюченных стариковских пальцев со шнурками, автомобильнаго «яроснаго» воя и прочих темных парадоксов, — что именно эта обида пусть даже легонькая и мимолетная, готовая каждую минуту перейти в восхи-

щеніе, такое-же летучее, перед любым смазливym женским личиком, — и *связала* его с дальнѣйшим ходом событий.

На слѣдующем перекресткѣ пасмурное выраженіе его лица уже вполнѣ отвѣчало настроенію.

Еще через квартал он остановился закурить. Оттого-ли, что в табак замѣшалась шерстинка, ворсинка, пушинка, или поблизости жгли, — но ему явственнo почувствовался запах жженного, а именно — жженой пеньки. И, как это часто бывает, случайный запах на секунду перенес его куда-то — Бог знает куда — в какой-то закоулок прошлаго — на запущенный московскій дворик, гдѣ он с ребятами лѣт двадцать тому назад выщипывал из сруба паклю, чтобы потом, сваяв ее с помощью клочка «Газеты-копѣйки» в папиросу, курить до дурноты, кашляя и отдуваясь, но ни на минуту не теряя увѣренности в своей мальчишеской привилегированности и важности совершаемого. Между этим юным курильщиком и Валентином Егоровым лежали миллионы «жикологических» лѣт, и нельзя было осмыслить, что оба они — одно лицо, точно так же, как нельзя было представить себѣ другого, новаго Егорова, глядящаго на теперешняго через вторые миллионы лѣт. И однако нѣчто подобное — «странное» и «дикое» — шевельнулось в егоровском сознании.

Вѣроятно, как-раз послѣ этого (или непосредственно *перед* этим) он услышал визгливый, как-будто лающий скрип тормоза и безобразный прохот сталкивающихся машин. Вслѣд за тѣм из-за угла донесся тягучій вопль. . . Спичка потухла. Проходившая мимо особа в черной вязаной перелинкѣ и с сѣточкой для продуктов — пошатнулась, кашлянула и едва не упала.

Автобусы заскользили плавно, словно по льду, неслышно загудѣли такси, и красный, говорливый мясник лишь как рыба раскрыл рот и глотнул воздух: вопль покрыл и уличный шум, и все вообще, чѣм может жить человек. Егоров и не подозрѣвал, что есть в мѣръ такой крик — не звѣриный — *человѣческій*, от котораго становится душно и так странно сжимается, точно падает куда-то сердце. Через минуту все опять задышало, загромыхало, засуетилось. Словно из-под земли выросли бѣгущие во весь дух ребятишки; сломя голову помчались, подбирая юбки, степенныя лавочницы и консержки; тревожно проталкивались к углу обыкновенныя прохожіе. Молодого человека чуть не сбил с ног подмастерье из парихмахерской — бѣлый, как его запачканный халат, и с выпученными глазами, — открывшееся ему зрѣлище, видимо, было увлекательнѣй разговоров о смѣнѣ кабинета и об очередном убійствѣ. Народу скопилось множество. Посреди улицы за углом стоял физическій виновник катастрофы — сановитый и угрюмый Рольс-Ройс; возлѣ него пожилой господин в котелкѣ и бѣлых перчатках давал показанія полицейским, он был взволнованно, нарочито небрежен. Немного поодаль лежала на сломанной оси другая машина — такси — вся измятая и словно обрызганная осколками стекла, причудливо уткнувшись радиатором в панель. На подножкѣ алѣла лужица крови. Когда подошел и Егоров, из-за руля уже выволакивали раздавленнаго, — какого-то закопченнаго, скользкаго и эластичнаго человека, как будто наполненнаго жидкостью. Потом его неловко — мѣшком — понесли, при чем он все выскальзывал, а лѣвая рука волочилась по мостовой. Во время посадки

на автомобиль скорой помощи судорога свела его губы в ни с чѣм не сообразную, дьявольскую усмѣшку, обнажив щербатый рот, — и тогда Егоров узнал в нем своего, потеряннаго в эмиграціи, сослуживца, — Федора Иванчука.

Открытіе было до того уродливо, до того не похоже на правду, что молодой человек как встал на подножку мебельнаго фургона, чтобы лучше видѣть, так и продолжал стоять, повторяя рукой отстраняющій жест, даже когда толпа отхлынула и автомобиль скорой помощи скрылся из виду. Если-бы в тѣ минуты его спросили — что с ним? — он просто и чистосердечно отвѣтил-бы: «мнѣ жаль Иванчука», — а между тѣм это «жаль» своим «остріем», своей болью было обращено не на чужую судьбу, а на его собственную, и хотя искорверканное судорогой лицо сослуживца все еще плыло между скученными шляпами и пиджаками, колеблемое и точно подгоняемое вѣтром, — не оно было объектом егоровскаго вниманія. Он «забыл», что Иванчук никогда не был его другом и для него — в нем — никогда не жил, т. е., что покойнаго и вообще какъ-бы не было. В головѣ молодого человека происходила странная и мучительная пертурбація: смерть из явленія «научнаго», «мертваго» превращалась в нѣчто совсѣм *живое*, которое «билось» гдѣ-то в собственном его сердцѣ, и ему было страшно жить в этой близости к смерти и *совѣстно*, что остались не раскрытыми, не пережитыми им Егоровым — годы, приведшіе Иванчука к катастрофѣ, — как-будто можно было ее предугадать, как-будто смерть одного человека лишала других права на жизнь. Он напряженно вспоминал: может быть в прошлом его сослуживца, в каком-нибудь пустяковом

случаѣ, даже простом словѣ, или жестѣ, заключалось указаніе, с помощью котораго оказалось-бы возможным уразумѣть катастрофу, т. е. связать ее с его собственной — егоровской — жизнью. Но прошлое не открывалось. вмѣсто живого Иванчука ему почему-то представлялась давнишняя фотографія с посвященіем. — «Другу и пріятелю Егорову», — уже в 1920 г. запрятанная в трухлявую пачку крымских документов. Иванчук на ней — в «тонной» матросской форменкѣ, из-под фуражки с георгіевской ленточкой выбивается и сползает на ухо курчавая прядь волос, лицо — румяное, скуластое — надменно, усмѣшливо морщится, обнаруживая, что два ззуба кѣмъ-то выбиты, глаза — с поволокой. Кромѣ этой неподвижной фотографіи тускло, мертвенно освѣщалась в памяти предэвакуационная кубричная вольница с константинопольским спиртом, с болтовней о портовых притонах, о «дѣвочках», с «бурным» ощущеніем молодости и распоясывающим, невидимым присутствіем там-же под рукой не похожей на теперешнюю — «бѣлой» смерти. Все это было не то. Временами ему казалось что и то и это — лишь прелюдія к невиданной и страшной катастрофѣ; все как-бы ввергалось в кромѣшный хаос; и он чувствовал на себѣ излученія какой-то отталкивающе-нѣжной, «лиловой» улыбки.

— Помер что-ли? — спросила простоватая женщина на высокога, плотнаго человѣка.

— А мнѣ-то что? — отвѣтил тот, глядя почему-то на Егорова, и затѣм, медленно переведя взгляд на женщину, раздраженно добавил: — Пошли, пошли домой! — чего стоишь?!

Егоров тихо подошел к полицейскому и попросил

адрес госпиталя. Потом он долго шагал по направлению к дому, боясь обернуться и вздрагивая от чужого прикосновения, в полной уверенности, что идет в госпиталь...

Толпа понемногу таяла. Гневные возгласы уступали место обыкновенной миролюбивой болтовне. Улица торопливо, с нескрываемой радостью одевалась в свои обычные цвета, напивалась прежними запахами и шумами. Протокол был уже составлен и «эпизод» — исчерпан. И только с открытки, прикрепленной к стеклу незадачливого «Ройса», безутешно, виновато и жалко глядела на ротозев — нежно-голубая Мадонна.

I

Не надо говорить усталому о том,  
Что Бог вознаградит за слезы без отвѣта.  
Не лучше ли уснуть, не лучше ли, потом  
Не видѣть никому не нужнаго разсвѣта?

. . . . .  
Я многое узнал, когда пришла зима  
И снѣг покрыл людей, деревья и дома.

II

Увы, не испытали вы  
Ночного холода Невы  
И Рима холода дневного.

На водах Тибра и Невы  
Вѣс камня, времени и слова  
Увы, не испытали вы.

О, главы знанія ночного,  
О, статуй пыльные главы —  
Вѣс камня, времени и слова,

О, воды Тибра и Невы —  
Невозвращаемыя снова,  
Невозвратимыя, увы!

## БЪЕТ ПОЛНОЧЬ...

### I

Бьет полночь близко на часах лица.  
За стройною рѣшеткой дышет сад.  
Прекрасен фонарей волшебный ряд.  
Под мирным небом сердце цѣпенѣет.

Вот этот звук — в симфоніи міров,  
Безжалостной — вовѣк не повторится:  
Здѣсь шел поэт по улицам столицы,  
(Затерянный, как пес среди снѣгов...)

Он шел, не в силах с Богом примириться,  
И одинокій стук его шагов  
О бремени свидѣтельствовав — снов,  
Которым никогда не воплотиться.

### II

Вот в такія минуты совершаются темныя вещи,  
И простор поднебесный вдруг тѣснѣй подземелья крота.  
Всѣ слова безнадежныѣ, всѣ обиды старинныя рѣзче,  
И вокруг человѣка величаво растет пустота.





И только первый ярус  
В театрѣ городском...

Все холоднѣй и строже  
Над скукой міровой  
Сіяли в черной ложѣ  
Глаза Лопухиной.

## II

Кто знает — житель рая —  
О чем в полночный час  
Он думал, не смыкая  
Над рукописью глаз,

Когда сквозь сон кричали  
В аулах пѣтухи  
И в Пятигорскѣ спали  
Средь сонной чепухи.

Спасибо вам среди тѣсных  
Ущелій за намек,  
За нѣсколько небесных  
И непонятных строк,

Которых в буднях міра  
Нельзя читать без слез:  
Как ангел из эфира  
В объятях душу нес,

Как средь земного бала  
У черного окна  
Томилась и вздыхала  
И плакала она...

*Ю. Мандельштам.*

С детства я любил мечтанья,  
Тишину и дрожь предчувствий,  
Оттого я много вѣрил  
И отчаивался много.

Я искал на небѣ отблеск  
Незаслуженного счастья,  
И оно меня томило  
Слаще лѣтних сновидѣній.

Иногда в молчаньи полдня,  
Иногда в мерцаньи ночи,  
В шумѣ сосен или моря,  
В тишинѣ полей звенящих,  
В бѣлизнѣ снѣгов альпійских  
Неожиданно мелькало  
Обѣщаніе блаженства.

Иногда в простой бесѣдѣ,  
Иногда в хмельном весельи,

Иногда в объятях женщин,  
Иногда в стихах поэтов  
Что-то сердцу открывалось  
На короткое мгновенье.

Но альпійскія вершины  
Застилались облаками,  
Сосны жалобно стонали,  
От вина хотѣлось плакать,  
Рифмы падали на сердце  
Тяжелѣй камней могильных.

А тревожное хотѣнье,  
Именуемое страстью,  
Доводило до безумья,  
До безумных просвѣтлѣній.  
Только сердца замирало  
Не надеждою, а болью.

И я боль избрал судьбою,  
Полюбил ее безмѣрно,  
Свыше мѣры ей повѣрил,  
Называл ее любовью,  
Со слезами ей молился.

Но текли без вѣры слезы,  
Ничего не разрѣшая,  
И все дальше уходило  
Незаслуженное счастье.

Я тогда возненавидѣл  
Безысходное мученье,

И себя проклятью предал  
За отчаянье и лживость,  
И закрыл лицо руками,  
И в отчаяньи заплакал. . .

И тогда меня коснулось  
Незаслуженное счастье.

*Виктор Мамченко.*

Цвѣты отцвѣтают, не надо иллюзій,  
Недѣтское время бродить по полям,  
Недѣтской тревогой о загнанной музѣ,  
Срываясь за вѣтром, шумят тополя.  
Не надо тоски, этой ломкой надежды, —  
Вѣдь тѣло привыкнет навѣки хотѣть —  
До солнца тянутся, без всякой одежды,  
Навѣки Икаром крылатым горѣть.  
Не надо иллюзій и правды не надо, —  
Правдивое стало как спутанный бред,  
И только вот сердце, как будто, не радо  
Опять не казаться огромным в добрѣ.  
Огромным, как море — сквозь ночи и холод, —  
Оно, наконец, заблудилось в крови,  
Теперь под рукою, как медленный молот,  
Ударом послѣдним упасть норовит.

Ну, что-же, крылатый... Печальная птица  
Безкрыло прижалась к холодной землѣ...  
Вѣдь тѣло привыкнет над кротостью биться,  
В потугѣ безсмертья метаться и млѣть.

*Софія Прегель.*

Я знала в тучѣ ширится гроза,  
Она дождѣм должна пролиться скоро.  
Пугливая сосѣдская коза  
Топталась у невзрачнаго забора.

Миндальной вѣтки нѣжное крыло  
Под вѣтром шевелилось, покрывая  
Цвѣтами землю, и земля живая,  
Как женщина вздохнула тяжело.

*Георгій Раевскій.*

I

Юношѣ — горячій конь,  
Знамя, слава и огонь.  
Но достойнѣй встрѣтить мужу  
Грудью — ледяную стужу.

Не широкіе орлы  
С гордым клёкотом над нами, —  
Вѣтеръ средь растущей мглы  
Рѣзкими летитъ кругами.

В мірѣ нѣтъ такой стѣны,  
Что-б укрыла за собою,  
В мірѣ нѣтъ такой страны,  
Гдѣ к прозрачному покою

Мы вернуться-бы могли.  
Трудно вырастаютъ всходы  
Той дорогой, гдѣ прошли  
Эти каменные годы.

Средь тяжелыхъ скал одна,  
Все сильнѣй и непокорнѣй,  
Медленно растетъ сосна,  
Укрѣпляя в бурю корни.

## II

Холодный, свѣтлый круг на мостовой  
И фонаря негромкое гудѣнье. . .  
Чуждакъ печальныйъ улицей пустой  
Бредетъ и разговариваетъ съ тѣнью.

Что-жъ дѣлать человѣку одному?  
Такъ легче, все-таки. Протянешь руку:  
Внизу другая — длинная — во тьму  
Протянется; прислушаешься къ звуку

Своих шагов: глянь, кончился квартал.  
А там уж парк: огромные каштаны,  
Их куполов торжественный овал  
На темном фонѣ, звѣздном и туманном.

*Юрій Софіев.*

I

Что же дѣлать? — в общем, это так!  
Мы старѣем. Жизнь проходит мимо.  
Побѣждает жизнь любой дурак,  
А для нас вдвоем — неборима!

Это значит... Значит, милый друг,  
Что уже не за горами вечер.  
Значит, кромѣ загрубѣлых рук,  
В этой жизни хвастаться мнѣ нечѣм.

Боже мой, за то какую грусть  
Мы проносим, всё ей озаряя.  
Может-быть, печалюсь, наизусть,  
Ктонибудь, ее и повторяет.



## II

*В. М. Зензинову.*

О, сколько раз за утлюю кормой  
Вскипали волны, вѣтры рвали флаги;  
Звучали рельсы, музыкой стальной,  
Звучало сердце вѣрой и отвагой.

Сквозь кровь, сквозь годы, страны и усталость  
Чередовались радость и бѣда.  
Покоя сердце никогда не знало  
Покоя не искало никогда! . .

И я любил и ненавидѣл много,  
И я дышал отвагой и борьбой —  
Прекрасный мѣр ложился предо мной  
Неровною и трудною дорогой.

И как нетерпѣливо я искал  
По братски мнѣ протянутую руку,  
Но руки тѣ, которыя я жал  
Сулили только вѣчную разлуку.

*П. Ставров.*

## I

Слѣпой переулок. Слѣпой огонек.  
Четырнадцать вдоль — и пять поперек.

Пустынное небо под такт шагов —  
Как черная пѣсня без всяких слов.

Прохожій чужак под цвѣтистым кольцом  
Встрѣчает чужим, не своим лицом.

— Ей, ей, до зари куда идти?  
Ей, ей, уголка веселѣй не найти.

Знакомый, большой и нестрашный дом  
За темным, пустым, перебитым стеклом.

Слѣпой переулок — нестрашный — лег.  
Четырнадцать вдоль и пять поперек.

## II

Все на мѣстах. И ничего не надо.  
Дождя недавняго прохлада,  
Немного стѣн, немного сада...

Но дрогнет сонная струна  
В затишьи обморочно-сонном,  
Но дрогнет, поплывет — в огромном.  
Неутолимом и бездонном...  
И хоть бы раз в минуту ту  
Раскрыв глаза, хватая пустоту,  
Не позабыть, не растеряться,  
Остановить,  
И говорить, и задыхаться...

### III

Может быть

по снѣгу, в изступленьи  
быстрый бѣг в проталинах полей  
И послѣднее из считанных мгновений  
вѣрной гибели моей.

Может быть, — как миг, воспоминаніе,  
жаркій вздох и жадность до конца,  
И свѣтлѣй холодное сіяніе  
блѣдных звѣзд у мертваго лица.

Может быть

труднѣе бѣг и тише,  
свист, — дыханіе и окровавлен рот,  
что ни шаг — огромнѣе и выше  
мой послѣдній небосвод.

### IV

Еще понятны и легки  
Слова, упавшія не в срок,  
Вдали мелькнувшій огонек,  
Тепло мгновенное руки.

Еще — надѣйся и умножь  
Внезапно вспыхнувшую дрожь.  
И на лучах от фонаря  
Еще отвѣтная заря  
Закату нѣжному вѣрна,

Но рядом — пѣнясь исчерна,  
Над глуховатой темнотою,  
Но рядом, за морской чертою,  
За плеском плеск, за взлетом взлет  
Ведут нездѣшной сукѣ счет.

*Ю. Терапіано.*

*Лидіи Червинской.*

1

На рынок выхожу цвѣточный.  
Прохладой вѣет от сырой земли,  
И образ счастья, хрупкій и неточный,  
Безмысленно рисуется вдали.

Мнѣ на цвѣты смотрѣть невыносимо:  
Их любишь ты, их ненавижу я —  
За красоту, за власть неотразимо  
Небытіем сіять среди бытія.

2

Быть может, в старости увидишь ты закат  
И вспомнишь тѣсное, чужое небо,

Каштаны вдоль бульваров, зимній сад,  
Глоток воды, сухую корку хлѣба,

Любовь, которой не было всерьез  
(— Изгнанника печальныя примѣты), —  
И вдруг, — как дождь, как миллионы роз,  
Как чудо роз святой Елизаветы. . .

3

Каким скучным и безнадежным свѣтом  
Отмѣчены гонимые судьбой,  
Непризнанные критикой поэты,  
Как Анненскій, поэт любимый мой.

О, сколько раз в молчаньи скучной ночи  
Смотрѣл он, тот, который лучше всѣх,  
На рукопись, на ряд ненужных строчек,  
Без вѣры, без надежды на успѣх.

Мнѣ так мучительно читать с какою  
Любезностью — иль сам он был во снѣ —  
И незаконно славил как героя  
Баяна, — что гремѣл по всей странѣ

И называл поэзіей — чужія,  
Пустыя сладковзвучныя слова. . .  
И шел в свой парк. . . И с ним была Россія,  
Донинѣ безутѣшная вдова.

Знаешь, горе, мнѣ с тобою  
И привычнѣй и теплѣй.  
Не мири меня с судьбою,  
Не учи и не жалѣй.

Подожди со мной разсвѣта,  
Проводи меня домой. . .  
(Все таки душа согрѣта  
Болью о себѣ самой).

Странное начало лѣта. . .

Под густой листвою каштана  
Зрѣют смуглые плоды,  
От разсвѣтнаго тумана  
Вѣет свѣжестью воды.

Кажется, что близко море,  
Кажется, что счастье есть. . .  
Ничего не нужно, горе,  
Если все — печаль и лѣсть.

До конца. Плечем к плечу.  
Ты поешь — а я молчу.

Я люблю: осеннія дороги  
 Под Парижем, в сумеречный час,  
 Оттого что, вѣрное, в тревогѣ  
 Сердце одиноко любит вас.

Я люблю старинные флаконы,  
 Кактусы, камины и ковры,  
 Оттого что, друг мой беззаконный,  
 Вы со мной нечаянно мудры.

И еще: цыганскіе мотивы,  
 Улицы, зимой, под Рождество,  
 Оттого что сердце терпѣливо  
 Любит вас и никого.

А весной могу читать Толстого,  
 Наблюдать за ростом синевы,  
 Сознать, что сердце жить готово. . .

Лѣтом я всегда люблю другого,  
 Оттого что сердце: это вы.

*А. Штейгеру.*

Жизнь права, как будто. До свиданья.  
 Ухожу — не вѣдая куда.  
 Не хочу высокаго страданья,  
 Не хочу веселаго труда.

Ухожу, и уношу с собою  
Тишину деревьев за окном,  
Небо — ночью странно голубое,  
(Небо Ниццы). Память обо всем.  
Вѣрность, возвращенную судьбою...

*А Штейгер.*

## ПАМЯТЬ

### 1

Неужели навѣки врозь?  
Сердце знает что да, навѣки...  
Видит всё до конца насквозь.  
... Но не каждый вѣдь скажет: «Брось,  
Не надѣйся», — слѣпцу, калѣкѣ...

### 2

Перемена людей и мѣст  
Не поможет. Напрасно бьешься.  
Память — самый тяжелый крест...

(Под кладбищенским разогнёшься).



Всё об одном... На улицѣ, в бюро,  
 За книгой, за бесѣдой, на концертѣ...  
 И даже сны... И даже, (как старо!) —  
 Вот вензель чертит и сейчас перо...

(И так — до смерти). Да и послѣ смерти.

---

Неужели Сентябрь? Неужели начнется опять  
 Эта терпкая грусть, и дожди, и на улицѣ слякоть...  
 Вечера без огня, (— вѣдь нельзя постоянно читать)...

Неужели опять, чуть стемнѣло, ничком на кровать  
 Чтобы больше не думать, не слышать и вдруг не за-  
 плакать...

---

Не до стихов... Здѣсь больше слѣз, чѣм роз  
 В несчастном и безумном мирѣ этом.  
 Здѣсь круглый год стоградусный мороз  
 Зимой, осенью, весной, лѣтом...

Здѣсь должен прозой говорить всерьѣз  
 Тот, кто дерзнул себя назвать поэтом...

## I. «ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗЪ РОССИИ».

О книгѣ Жида говорили до ея выхода, и люди, посвященные в тайны, с улыбкой утверждали, что нам, русским эмигрантам, она будет пріятной. Послѣ ея выхода и всего поднятаго ею шума нерѣдко нас спрашивают: «ну что же, вы довольны?» Надо сказать правду, мы не можем быть довольны: то, что Андрэ Жид нам сообщает, если полностью ему вѣрить, так грустно и так трагично для каждого русскаго, как ни одно другое свидѣтельство о теперешней Россіи. Мы долгіе годы жили надеждой, будто совѣтская власть перестраивает Россію на свой, нам отвратительный лад, но будто живая подсовѣтская Россія молчаливо и стойко ей сопротивляется и, вопреки, большевикам, духовно как-то сохранилась. Андрэ Жид, против своей воли, нашел у совѣтской власти всѣ тѣ отвратительные пороки, которые и мы ей приписывали, однако русскій народ кажется ему послушно и безоговорочно пріемлющим власть.

Вся Россія, от верхов до низов, живет, по его наблюденіям, в атмосферѣ революціоннаго благополучія: никаких сомнѣній в себѣ, за-границей еще хуже, ни малѣйшаго желанія что-либо у себя измѣнить. Когда-то Жид увѣровал в коммунизм, оттолкнувшись от буржуазной Европы, от ея лицемерной морали, от жестокаго социальнаго неравенства. В коммунизмѣ он искал

не только братство и теплоту, но и духовное безстрашие и честность — этого он в советской России не увидел, и неожиданно его потянуло назад, в свободную Францию, ему пришлось оценить то, чего он раньше не ценил, остатки гуманизма в либеральной части Европы.

О книгѣ Жида написано много, ее, действительно, в своих цѣлях использовали, как он того и боялся, реакционеры, хотя каждое его обвинение применимо и к ним. Русским критикам его книги представилось (или естественно захотѣлось, чтобы так именно было), им представилось, будто Жид восхищен всѣм русским и разочарован во всем советском. Но это глубоко неверно: Жид нигдѣ не отдѣляет России от советчины. Если что-либо ему нравится — дѣти, заботы о них, рабочіе клубы — то нравится ему и дѣятельность в этом направленіи большевистской власти, и тѣ, кого большевистская власть так дѣятельно опекает. Если что-либо для него невыносимо — самодовольство, равнодушное единогласіе — то и здѣсь явно сливаются требованія власти и покорность народа. Единственное разграниченіе, которое он упрямо проводит — советской власти, Сталина, с одной стороны, коммунистическаго идеала, с другой. Невоплощенному этому идеалу он хочет остаться верным.

К его книгѣ можно подходить с двух разных концов: в ней есть «загадка Жида» и есть «загадка России». Первая тема неистощима, запутана и нас Бог знает куда заведет, но кратко надо разобраться и в ней, чтобы понять, попытаться разрѣшить вторую, для нас теперь столь отвѣтственно-важную. Всякому внимательному читателю послѣ любой книги Жида ясно, что его стремленіе шире, чѣм написать «высокохудожественное произведение», что он бьется над основным Толстовским вопросом, так хорошо у Толстого выраженным: «Что же нам дѣлать». И сразу очевидно огромное между ними различіе: Толстой, ставя этот вопрос, как бы отказывается от своего прошлаго, от «Войны и Мира», от

всего своего писательскаго призванія. Говорит тот же человек, который написал «Войну и Мир», но говорит аскетически просто и сурово, без малѣйшей художнической позы, избѣгая примѣнять свое дарованіе, напротив, его почти убивая. Жид ни одной секунды не перестаетъ быть артистом (несравнимо меньшим и болѣе слабым, чѣм Толстой), и в его поисках правды нужно учитывать эту неискоренимую артистическую позу, долю воображенія, мысль о впечатлѣніи, вѣроятнаго читателя, от тѣни котораго Жиду никак не избавиться. Даже интеллектуальная честность «Возвращенія из Россіи», буквально всеми критиками подчеркнутая, иногда смутно-подозрительна: так, казалось бы, разочарованіе Жида в совѣтском укладѣ, послѣ предшествовавших «immenses espoirs», должно было его довести до предѣльнаго отчаянія, но вся книга выдержана в объективно-спокойном тонѣ. Видимо, артист побѣдил человека, любознательный наблюдатель — измученнаго «поборника правды». Вѣдь не мог же он в нѣсколько мѣсяцев преодолѣть свою горечь и так стройно-изящно увидѣнное передать. И как хватило у него сил написать бодрія строки, что «С.С.С.Р. не перестаетъ нас поучать и удивлять» — по поводу вмѣшательства большевиков в испанскія событія — когда такой праведный гнѣвъ у него вызвали совѣтское лицемѣріе и совѣтское рабство. Толстой бы навѣрно этого не простил за вмѣшательство в испанскія дѣла. Не буду, однако, преуменьшать безупречной искренности Жида — у каждаго свои возможности, и никому через них не прорваться — но думаю, что стройность, цѣльность всего описаннаго в его книгѣ, печальное тождество большевизма и Россіи, отчасти есть композиціонная, артистическая цѣльность. Иначе он поразился бы собственной своей непослѣдовательности: его в то же время восхищаетъ братская теплота русской толпы, отдѣльных русских людей, и отталкиваетъ сухое их безсердечіе к бѣднякам, причем он меланхолически замѣчаетъ: «это происходит из-за того, что власть запретила частную благотворительность». Мнѣ кажется, многое стало бы

понятным в совѣтск. быту, если бы точно себѣ уяснить, насколько вяжется характер русскаго человѣка, русскаго народа, с обликом и задачами большевистской власти. Только это и заставляет большевиков усиливать террор, несмотря на восемнадцать лѣтъ диктатуры и внѣшнюю прочность ея организаціи.

Разумѣется, одной «композиціонной стройностью» ошибку Жида нельзя объяснить. К ней его привела, как ни странно, крайняя довѣрчивость. Подобно стольким другим туристам, он повѣрил всему, что услышал, вопреки скептическим оговоркам умнаго человѣка, постоянно в книгѣ приводимым. Тут повторяется неизмѣнное и жалкое явленіе: лѣвые туристы вѣрят всему, что им показывают в совѣтской Россіи, правые не вѣрят ничему. Но в противоположность остальным лѣвым туристам Жид показаннаго, рассказаннаго ему не одобрил. Он, дѣйствительно, повѣрил, что каждый совѣтскій гражданин ждет предписаній из Москвы для выработки своих мнѣній по каждому вопросу, что любой писатель горячо привѣтствует «генеральную линію», что тайной, внутренней оппозиціи нѣтъ, что нѣтъ и критики, что никого не задѣвает возростающее социальное неравенство, что молодежь стремится лишь к дозволенной «марксистской культурѣ». Он забыл, что часть услышаннаго им говорилась «не за совѣсть, а за страх». Откуда иначе разстрѣлы, переполненіе тюрем и лагерей гешеу. Все то, что Жиду сообщалось, он принял за чистую монету и приписал пресловутой пассивности русскаго народа. По его убѣжденію, народ раздѣляет измѣнчивыя стремленія власти, все болѣе антигуманистической, и, вмѣстѣ с большевиками, он осуждает и русскій народ во имя того, что «выше меня и Россіи», во имя «человѣчества, культуры». Оттого для нас неимоверно-печальна книга Жида. Мы отсюда, издалека, ничего не видим и не знаем, невольно набрасываемся на всякое чужое свидѣтельство и можем в отвѣтъ, увы, лишь эмоціоноально возражать: нѣтъ, мы чувствуем, что это не так и до такой степени русскій человѣкъ не

успѣл переродиться, мы лучше понимаем его, чѣм самые проникательные иностранцы. Но, конечно, они будут упорно настаивать на своем.

Разочаровавшись в Россіи, Жид не измѣнил своему коммунистическому идеалу. Но, в сущности, нас интересовала не «идея», а самый «стиль жизни», и худшія наши опасенія о стилѣ совѣтской жизни Андрэ Жид полностью подтверждает. Ничто его так не поразило, как свойства, давно нам извѣстныя, извѣстныя также большевикам и названныя ими по своему—«подхалимство», «головокруженіе от успѣхов» — свойства, иногда непріятныя властям и все-таки ими поощряемыя. Жид предполагает, что в замкнутости, оторванности от міра, в большевистском самодовольствѣ — разгадка относительнаго счастья совѣтских людей: «Leur bonheur est fait d'espérance, de confiance et d'ignorance». Он подымает вопрос о «слѣпом счастьи» ограниченных людей и этого счастья не признает и не хочет. Ему дороги старинныя гуманистическіе принципы, которым должен противиться всякій правовѣрный марксист — что без выбора, отбора, свободы, без чьей-то борьбы «против теченія» нѣтъ ни прогресса, ни культуры, ни творчества.

## II. УМИРАНИЕ ИСКУССТВА.

(По поводу книги В. Вейдле:  
«Les Abeilles d'Aristée»).

Книга русскаго критика о положеніи современнаго искусства, о явном неблагополучіи в нем, о его надвигающейся гибели, книга, насыщенная опытом и знаніями, продуманная, выстраданная автором, к сожалѣнію, не могла выйти по русски, и приходится о ней судить

по французскому переводу, правда, безупречному. Глубокій ея пессимизм, несомнѣнно, раздѣляется рядом писателей и дѣятелей искусства, симптоматичен для нашего времени, и мнѣ кажется, ея содержаніе необходимо подробно изложить.

Автор в ней разбирает всѣ виды современнаго искусства, начиная с самаго из них показательнаго — романа — и пытается установить, как происходила их эволюція за послѣднія полтора или два столѣтія. По его словам, основной порок теперешняго романа и всѣх других родов искусства — паденіе творческой фантази, ея замѣна то жизненным документом, то формальной изощренностью, иногда скучной поддѣлкой под классическій роман, нерѣдко «монтажем», особенно в американской и совѣтской литературѣ.

Автор приводит множество примѣров этой замѣны. Так, по его убѣжденію, наиболее замѣчательный из романистов двадцатаго вѣка, Марсель Пруст, в огромной своей эпопее, наряду с чисто-художественным вымыслом, передает эпизоды и душевныя состоянія, черезчур біографическія, документированно-точные, не преобразованныя вдохновенной писательской волей. Слишком пристальное вниманіе к своему «я» затемняет это самое «я», разлагает его на мельчайшіе составные элементы, послѣ чего творческій синтез уже невозможен. В результатѣ происходит разрыв между личностью творца и его творчеством, вытѣсненіе, подавленіе творчества личностью творца, невѣріе писателя в свое «*Dichtung*», нежизненность, условность персонажей.

Другой реформатор современнаго романа, Джемс Джойс, создает в «Улиссѣ» необычайно искусную, но вполне произвольную схему. Сближаясь с сюрреалистами, он вводит в свой роман подобіе исповѣди, «автоматическую записку», порой неотразимо убѣдительною. Но у читателя непрерывно сохраняется впечатлѣніе механизациі творческаго процесса, как и механизациі

душевнаго міра Джойсовских героев. Такое же впечатлѣніе возникает при чтеніи многих произведеній Пиранделло, Андрея Бѣлаго, Вирджиніи Вульф. Гораздо болѣе живой и жизненный писатель, Герман Брох, постепенно и как бы вынужденно переходит в своей трилогіи от классическаго романа к почти искусственному соединенію раздробленных отрывков, напоминающему опять-таки монтаж. У всѣх этих лучших современных писателей, по мнѣнію автора книги, одни и тѣ же печальныя свойства: ощущеніе безвыходности, какой-то творческой безкрылости и чувство оторванности среди чуждаго им, застывающаго, коснѣющаго міра.

Все же Вейдле считает блистательной удачей романы Пруста и менѣе яркой, но столь же безспорной — трилогію Броча. Только самый их путь представляется ему тупиком, а их побѣда — случайностью, чудом, которое едва ли повторится. Невольно хочется ему возразить, причем я сознаю оспоримость своего возраженія. Мнѣ кажется, способность «создавать міры» не исчезла, и всякое достиженіе, как бы мало их не было, это подтверждает. Напоминаю извѣстныя слова того же Пруста: «*Le monde n'a pas été créé en une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu*». Значит он вѣрил в созданный им мір и в жизненность его персонажей. Без сомнѣнія, сочувственным читателям эта вѣра передалась, но, конечно, мір Пруста субъективнѣе «міров» Толстого и Флобера, рѣзче окрашен авторской личностью, создан как бы цѣликом по образу и подобію автора, что его не лишает художественной силы и убѣдительности. Еще мнѣ кажется, будто вся наша современность — это открытая смертельная борьба между живым человѣком и тѣм, что его поглощает, что убивает души, сознательно ихъ замѣняя механически-мыслящим, бездушным аппаратом. Преувеличенія бывают и с той и с другой стороны — чрезмѣрный автоматизм героев Пиранделло и Джойса, гипертрофія душевности (а не «холодный анализ») у Пруста — и в процессѣ борьбы такіа преувеличенія законны.



Разбирая по-очереди всё остальные искусства — поэзию, музыку, живопись, архитектуру — Вейдле и в них находит аналогичные явления. В поэзии он раскрывает другой, худший порок — устарелость, исчерпанность форм, строфы, структуры стиха. В периоды юности народов великие поэты создавали общенародный язык, сейчас, в поисках освящения, они создают свой отдельный поэтический язык, глубоко чуждый народной стихии и ее не питающий. Оттого по-разному бесплодны произведения эстетов, Парнасцев, даже «чистая поэзия» Маллармэ и Валери, предпочитающего «*vers calculés*» тому, что он называет «*vers donnés*». Немногие исключения, вроде Бодлера — поэты, жертвующие собой, переносящие в поэзию всё живые свои душевные силы. Им суждено гибнуть в окружающем их мире науки, политики, прогресса.

И в музыке, по мнению Вейдле, чрезмерная «человечность» уступает место беспросветному формализму, стилизации, «механической музыке», порой лишь забавляющей слушателей. Автору кажется парадоксом (и в этом он сам себя возражает) музыкальный расцвет девятнадцатого века.

Новейшие течения в живописи — импрессионизм, экспрессионизм, кубизм — довольствуются частью вместо целого и разлагают творческую ткань. Все живое постепенно ими изгоняется из живописи, художник презирает «портрет», не может творчески его преобразить, и с ним успешно конкурирует фотограф.

Безнадежно утерян тот «общий стиль» эпохи, который когда-то поддерживал искусство, не убивая индивидуальности творца. Утрату стиля, безстильное искусство, ответственность каждого только за себя автор называет «романтизмом» и считает его особенно губительным для архитектуры.

Механический детерминизм, по словам Вейдле, есть основной принцип современной жизни, перешедший в искусство и его все нагляднее подтачивающий изнутри

и извнѣ. Он сказался даже в композиціи — «всѣ ружья должны стрѣлять» — и такое утвержденіе ранѣе сковывает творческую свободу. Опасность этой несвободы, чрезмѣрной сознательности художника давно уже понята иными творческими людьми. Еще Китс выдвинул свое антираціональное «negative capacity», что было страстным призывом вернуть искусству его первоисточник — чудо, вымысел, миф. Но для этого необходимо религиозное, то-есть христіанское возрожденіе человечества. Автор предсказывает, что или вновь оживет христіанство или культура будет поглощена механической цивилизаціей.

По примѣру Китса, ищут выхода из тупика и нѣкоторые позднѣйшіе писатели. Одни возвращаются к темам дѣтства и наивной дѣтской фантазіи («Le Grand Meaulnes»), другіе изображают простую, непрехотливую жизнь (Гамсун, Рамюз), третьи обращаются к міру безсознательнаго (Кафка) и сами же его раціонализируют. Появились и замѣчательные христіанскіе писатели (Клодель, Дю-Бос, Моріак). К сожалѣнію, церковь, с ея бюрократической организаціей и мертвой обрядностью, на встрѣчу им не идет. Под угрозой гибели — и церковь, и вся наша культура.

Мнѣ кажется, в книгѣ Вейдле, достаточно правдивой и вѣрной, нѣсколько сгущены краски и односторонне указан метод спасенія. Дѣйствительно, в періоды дѣтства народов искусство было ближе, понятнѣе людям, «среднему человѣку», и долго сохранялась взаимная связь народной массы и творческой элиты. Теперь усложнилась жизнь и души так называемых «передовых людей», стал шире «écart» между ними и массами, и к этим усложнившимся душам, к этой неизбѣжной, внѣ «общаго стиля», ответственности каждого за себя, к этой нашей трагической взрослости должно приспособляться искусство.

А мы живем торжественно и трудно

. . . . .

Но яи на что не промѣняем пышный  
Гранитный город славы и бѣды

И голос музы, еле слышный.

Да, конечно «еле слышный». Но от настойчивости теорца зависит, чтобы он был несравнимо слышнѣе. Однако, автор «Гибели искусства» прав, утверждая, что люди искусства нерѣдко свое дѣло предают, подчиняясь механизированной жизни и всей опустошенной и мертвой «дурной современности».

### III. РАЗРОЗНЕННЫЯ МЫСЛИ.

В исторіи одна крайность неукоснительно вызывает другую, ей противоположную. Так, массовыя движенія воплощаются в героѣ, вождѣ, культ героя создает напряженное вниманіе к человеку, обостреніе, гипертрофію индивидуализма. В дальнѣйшем возможно обратное. Один из примѣров такой послѣдовательности — французская революція, Наполеон, Байрон, Стендаль, романтическая школа, психологическій роман. Примѣръ обратной послѣдовательности — конечно, грубо схематическій — Ницше, Шпенглер.

Быть-может, из Шекспировских монологов вышли «комментаріи» современнаго психологическаго романа.

Кто-то из французов когда-то сказал: теперь нельзя так писать, словно не было Толстого и Достоевскаго. В наше время эти слова надо повторить о Марсель Прустѣ.



В эмиграции может возникнуть творческая новизна, которой не создадут нивелированные революционные массы. Но и эмигрантский средний человек консервативно-неподвижен, как никакой другой. В нем даже нет интеллектуального снобизма, сопутствующего жизненной благоустроенности. Поэтому трагически-велико расхождение между эмиграцией и творческой ее верхушкой.

У писателей, появившихся в эмиграции, нет «резонанса», опоры в родной им стране, и потому их имена «не звучат».

«Творческий человек» не должен приспособляться к тому, что побѣдило, а должен быть предтечей того, что побѣдит—в наше время готовиться к восстановлению свободы. Правда, теперь он — Андерсеновский «гадкий утенок».

## ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПАСКАЛЯ.

Паскаль не может быть «настольной книгой». Настольная книга — это «спокойные» философы, хотя бы и самые безнадежные (Эпикутет, котораго так чтит сам Паскаль, Марк Аврелій). Это также поэты, хотя бы и самые страшные, самые тревожные. Конечно, Тютчев, или Бодлер — о том же, что и Паскаль, но они не только «взрывая, возмущают ключи», они сразу же «на бунтующее море льют примирительный елей». С поэтами можно жить постоянно — такова таинственная природа поэзии. Но как держать на столѣ, дольше какого то времени, паскалевскія «Мысли»? Онѣ прожгут и стол и человекъ — не как огонь, а скорѣе как кислота, дѣйствующая медленно, но совершенно неотвратимо.

Но губительная кислота необходима и для исцѣленія. Паскаля нужно читать, вѣрнѣе невозможно не читать тому, кто раз его открыл. К Паскалю иногда тянет неудержимо — признак органической душевной потребности. Про многих ли великих писателей (и впрямь великих) можно сказать это. И тогда перечитываешь Паскаля, и с каждым разом все дольше тянется паскалевскій період», когда и живешь и думаешь не «по Паскалю», конечно, а внутренне с ним свѣряясь, не в силах забыть его голос, его убѣдительность. Это — опять таки явленіе органическое. «Я не только не имѣю права, я не в силах. . .»

Паскаля перечитываешь по разному, каждый раз по новому, и все же каждый раз узнавая его единственность. Иногда перечитываешь полностью, иногда — как попало, в любом, самом кратком изданіи. Безспорно, прочесть всего Паскаля слѣдует, да и просто очень интересно. Но не важно каждый раз читать его цѣликом. Нужно только снова услышать его тон, вдуматься в нѣсколько его мыслей — и процесс «прожиганія» начинается сам собой. «Je ne vois qu'infini par toutes les fenêtrés» — написал Бодлер, как раз «перечитывая Паскаля». Кажется, лучше не скажешь.

И все таки Паскаль не только прожигает, но и утѣшает — если и не тѣм большим утѣшеніем, которое открылось ему самому, то хотя бы утѣшеніем ищущаго; через него он вѣдь тоже прошел. «Peu de chose nous console, parce que peu de chose nous afflige». И это несмотря на «мыслящій тростник, самый слабый во всей вселенной», несмотря на все отчаяніе, на предѣльный ужас, прорывающійся мѣстами. «C'est tout ce qu'ils ont pu inventer pour se consoler de tant de maux». Противорѣчіе? Может быть только кажущееся. Не утѣшает ли как то честное сознаніе безнадежности?

Впрочем, не всякой. Безнадежность, упоенная собою, Паскаля отталкивает безоговорочно, не меньше чѣм лживыя надежды. «Думают ли они обрадовать нас, утверждая, что наша душа — немного вѣтра и дыма, да еще говоря это гордым и довольным тоном. Развѣ это можно говорить радостно? И развѣ, наоборот, не слѣдует говорить об этом с печалью, как о самой печальной вещи на свѣтѣ?» Но безнадежность, вѣрнѣе безутѣшность смиренная и ищущая, дѣйствительно, порою дает утѣшеніе. «Безспорно, находиться в таком сомнѣніи — большое несчастье. Но по крайней мѣрѣ, будучи в нем, у нас есть необходимый долг — искать».

Не в том ли единственность тона Паскаля, тайна его власти над сердцем, что, найдя для себя, он остается для нас ищущим. Сознаемся честно, ничего не утѣшает меньше и не раздражает больше, чѣм навязыва-

ніе нам обязательнаго готоваго рѣшенія, являющагося результатом чужого опыта, не ставшаго нашим собственнымъ. Даже Толстой иногда отталкиваетъ именно этимъ. Паскаль насъ никогда и никуда не тащитъ, онъ передаетъ намъ свой опытъ въ процессъ исканія, такъ, какъ если бы самъ еще не нашелъ. Онъ пытается открыть наши глаза на то, что самъ увидѣлъ. Поэтому онъ такъ близокъ и дорогъ — не можетъ не быть дорогимъ и близкимъ, пока глаза не откроются и человекъ не сможетъ уже по иному читать Евангеліе. До тѣхъ поръ Паскаль остается первой книгой — по мудрости и человѣчности, проникновенности и разумности, безкомпромиссному духовному порыву и безкомпромиссной земной честности.

Еще о тонѣ Паскаля. Онъ самъ опредѣлилъ разницу между «*esprit de géométrie*» и «*esprit de finesse*»: «чувство принадлежитъ сужденію, такъ же какъ науки — разуму». *Finesse* — «удѣлъ сужденія, какъ геометрія — удѣлъ разума». Самъ Паскаль обладалъ «*esprit de géométrie*» въ высшей степени; трудно представить себѣ писателя менѣе внѣшне «импрессионистическаго». Его мысли—аксіомы, постулаты, слѣдствія. Но служить разуму онъ не пожелалъ. «*Esprit de géométrie*» онъ отдалъ на служеніе «*esprit de finesse*», зная, что только послѣдній обладаетъ хотя бы ключемъ къ истинѣ, если не самой истиной. «*Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher*»... «*Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas; on le sent en mille manières.*» Какъ часто цитируются эти слова, и какъ они все таки безошибочно дѣйствуютъ. Опошлить ихъ невозможно, такъ они глубоко и непреерекаемо вѣрны. Человѣку, сказавшему ихъ такъ, какъ сказалъ Паскаль — трудно не вѣрить. А вѣдь Паскаль не только сказалъ, онъ все время подчиняется прежде всего доводамъ сердца, (какъ вяло звучитъ перевод!), онъ все время исходитъ изъ сердца, какъ бы точна ни была его логика. Обмануться нельзя: «*On le sent en mille manières.*»



Составитель известнаго Пор-Руаялевскаго предисловія, вѣрный янсенист, опасаящийся паскалевской человѣчности, явно не до конца ей довѣряющій, внушает нам, что в сущности своей Паскаль эту человѣчность преодолѣл, принявъ католическую догму. Пользуется же он в «Мыслях» человѣческой нотой, как приѣмом, лучше и вѣрнѣе всего убѣждающим. «Нужно предполагать, что послѣ этого читатель легко примет всѣ доказательства, им приводимыя». Так ли это на самом дѣлѣ? Не ошибается ли ревностный янсенист — далеко не такой ревностный, как в своем «откровеніи» Паскаль? И послѣ своего обращенія Паскаль остался несомнѣнно ищущим. Это — тоже лишь кажущійся парадокс. «Ты бы не искал, если бы уже не нашел» — читаем мы в «Мыслях». Таким образом послѣ «нахожденія» только начинаются настоящіе поиски. И ведет тогда человѣка по прежнему только его живое сердце. «Обычно мы лучше убѣждаемся доводами, найденными нами, чѣм тѣми, которые пришли в ум другим». Без своего переживанія любая догма для Паскаля мертва и ненужна. Об этом он говорит постоянно, иногда с опредѣленной и злой ироніей. «Многіе люди слушают проповѣди так же, как и обѣдню». Сам Паскаль меньше всего проповѣдует. Надо не обучать других (*instruire*), а воспламенять (*échauffer*). Достаточно прочесть его «Бесѣду с господином де Саси», янсенистским аббатом, чтобы понять разницу между ними. Де Саси именно обучает, Паскаль знает цѣну всякой наукѣ, де Саси говорит о богословіи, Паскаль — о сердцѣ человѣка. Да и самая запись, его обращенія вряд ли удовлетворила бы де Саси. «От половины одиннадцатаго до половины перваго. Огонь... Увѣренность. Увѣренность. Чувство. Радость. Мир... Радость, радость, радость, слезы радости». Развѣ не понятно, почему де Саси считал Паскаля опасным?

Простого и окончательнаго разрѣшенія обращеніе Паскалю не дало. «Христіанство странно» — записывает он. Трагедія не окончилась от того, что Паскаль

увѣровал. Она приняла лишь другія, болѣе страшныя формы. Да и как могло бытъ иначе. Вѣдь пришел он к вѣрѣ не спокойно, а в болѣзненной борьбѣ и сомнѣнїях. Вспомним его «пари» о котором он так автобиографически говорит в «Мыслях.» Вѣдь вопрос о бессмертіи рѣшался им почти «на орла или рѣшку». Держа пари, честно и по совѣсти, он отнюдь не шел на вѣрный выигрыш. Для себя он выиграл, но вѣдь рисковал и проиграть. Как же он может увѣрять других в несомнѣнности выигрыша, в отсутствіи риска? Да и в его «обращеніи» что то от этого пари навсегда осталось. Если «такое» могло случиться, то даже при положительном отвѣтѣ ясно, что не все в мірѣ метафизически благополучно.

«Отвѣт» не уничтожает всего того, с чѣм пришлось Паскалю столкнуться в поисках его. Не уничтожает страха и мучительности, а только измѣняет их, но оставляя и страшными и мучительными. «Pascal avait son gouffre»... Еще бы. Развѣ не страшно читать его восклицаніе уже послѣ обращенія: «Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie.» Все остается вѣрным. Найденная правда не опровергает, не отмѣняет первой, земной правды. Опять парадокс? Возможно. Но Паскаль на этом настаивает, упорно к этому возвращается. «Человѣк не ангел и не животное, но кто хочет стать ангелом, становится животным...» «Значительность человѣка не в том, чтобы найти край, но в том, чтобы достигнуть одновременно обоих краев, заполнив все, что между ними...» «Всякая вещь правдива с одной стороны и лжива с другой.» Полной правды человѣк достигает лишь зная об обѣих сторонах, о двух правдах, из коих каждая настолько же правдива, как и другая. Значит безвыходность, порочный круг? Да, конечно — и все же выход возможен. «Это — круг, и блажен тот, кто из него выйдет» — восклицает Паскаль с болью и пафосом. Очевидно, выхода он не отрицает. И вот еще о том же: «Несмотря на всѣ несчастія, которыя берут нас за горло, в нас есть ин-

стинкт, который мы не можем подавить и который нас возвышает.» Противорѣчіе полное, но «ни противорѣчіе не означает ложности, ни отсутствіе его не означает правды.»

Рационально и логически и Паскаль не нашел выхода. Надо «обезумѣть» или даже «поглупѣть» (s'abêtir) — утверждает он. Что это значит, кажется, достаточно понятно: вѣдь не к глупости в буквальном смыслѣ призывает он. Но Паскаль и сам уточняет: «Всякое наше сужденіе сводится к тому, чтобы уступить чувству.» Только чувством, иррациональным началом можем мы стремиться к выходу, ибо иррациональна вся жизнь. Замѣчательный отрывок о снах (из котораго, кажется мнѣ, вышел весь сюрреализм) Паскаль заканчивает словами: «Ибо жизнь есть сон, только немного менѣе незначительный.»

Всякіе подлинныя поиски таким образом в каком то смыслѣ должны быть неразумными, инстинктивными. Цѣль, осознанная разумно, неизбежно искажена. Поэтому, самые поиски дороже и важнѣе нам, чѣм любая цѣль. «Мы никогда не ищем чего нибудь опредѣленнаго, а поисков этого опредѣленнаго. . .» «Мы искренне вѣрим, что стремимся к покою, но на самом дѣлѣ стремимся лишь к поискам. . . Из двух противоположных инстинктов в душѣ рождается смутное сознаніе, которое заставляет нас стремиться к покою через волненіе.» Обѣщаніе блаженства — несомнѣнное, но сколь неожиданное для ищущаго точнаго отвѣта, ясной цѣли, предложенных нам в готовом видѣ со стороны. Зато как удивительно совпадают эти слова с другим данным нам обѣщаніем:

А он, мятежный, ищет бури,  
Как будто в бурях есть покой.

Все это, конечно, гораздо болѣе мучительно и неясно, чѣм то, чего ищешь обычно у «религіознаго мыслителя» или «учителя жизни». Это чувствуют всѣ толкователи Паскаля и находят этому объясненія в мане-

рѣ обращаться к читателю, в незаконченности и безпорядкѣ «Мыслей» (Паскаль, как извѣстно, умер, не доведя работы до конца, не придав ей окончательнаго порядка). И комментаторы по своему разъясняют, дополняют, распредѣляют Паскаля. Но за всѣми распредѣленіями и разъясненіями остается паскалевскій текст — волнующій, не учащій, а воспламеняющій. Ясности и разумной точности в нем не будет, как его ни толкуй и ни издавай. Но сердце чему то от Паскаля учится и какую то ясность обрѣтает. «Le coeur a ses raisons». . . Тому же, кому Паскаль не скажет ничего «en mille manières», лучше просто не раскрывать его.

## ЧЕЛОВѢК ПРОТИВ ПИСАТЕЛЯ.

«Прежде всякой литературы меня интересует одно: я сам». И еще: «Литература интересует нас (т. е. писателей) лишь в связи с нашей собственной личностью, лишь в той мѣрѣ, в какой она может повліять на нас.» Так писал лѣтъ двѣнадцать назад совсѣм еще молодой тогда французскій писатель Марсель Арлан в статьѣ, многими замѣченной, гдѣ он старался поставить діагноз новой «болѣзни вѣка», сам того не замѣчая, что она всего яснѣй сказалась в только что приведенных его словах. А между тѣм, стоит вслушаться в них, да еще в их глубокую тревогу, что явствует из их контекста, чтобы понять насколько они предполагают разрушительным всякое здоровое отношеніе между писателем и тѣм, что он пишет, между человѣком и творчеством. Если разлад проник сюда, в эту глубь, в самый узел, связывающій жизнь с искусством, если он коснулся неотмѣнимых условій литературнаго и всякаго вообще творчества, то гдѣ же еще, как не в нем, остается искать «болѣзни вѣка»? Нѣтъ болѣе тяжкаго недуга, чѣм разлад человѣка с его дѣлом, личности с естественным обнаруживаніем ея, невыслымым без жертвенной самоотдачи, без отреченія от своей нетроутости и замкнутости. Отреченіем и жертвой именно и строится личность, безконечно переростающая жалкое и жадное свое «я». Строится она в творствѣ, и нежеланіе или неспособность отречься от своего, от-

давать себя приводит к ущербу творчества, к тому состоянию, которое наблюдается повсюду в современном мірѣ, гдѣ все чаще (ограничиваясь одной лишь художественной областью) мы становимся лицом к лицу то с человѣком без искусства, хотя и способным к нему, хотя и страстно по нем тоскующем, то с искусством без человѣка: голой игрой все болѣе отвлеченных, все болѣе ускользающих от смысла форм.

Всего болѣзненнѣй был почувствован и отчасти осознан трагическій разлад поколѣніем писателей, родившихся в девяностых годах прошлаго вѣка и в ранней молодости побывавших на войнѣ. Среди них всего сильнѣй испытали его англичане и французы, вѣроятно потому, что развоплощенность, личности, зажатой в верстак механической войны, им особенно трудно было совмѣстить с органическим члененіем и наслѣдственной сложностью двух самых древних, насыщенных и отягощенных преданіем литератур Европы. В Англии такіе авторы, как Ольдингтон, Грэвс, Блэнден и во многом приближающійся к ним американец Гемингуэй, пишут романы и стихи, и пишут совсѣм не плохо, но так, что гдѣ-нибудь непременно просквозит полная неубѣжденность в необходимости их писанія. Их книги живы поскольку в них живет память о пережитом и мученіе живого человѣка; но их личный опыт будучи единственным духовным содержаніем этих книг, слишком узок и одновременно слишком общ, чтобы переработать весь наличный матеріал и дать ему исчерпывающую форму. Этот опыт «я», единственнаго среди миліона ему подобных, совсѣм не то, что опыт личности, свободно развивающейся, цѣлостной и в то же время открытой міру. Он годен для проповѣди человѣколюбія, но не для той совсѣм иначе рождающейся любви к человѣку, без поторой нѣтъ подлиннаго творчества. По мѣрѣ того, как отходит вдаль страшный опыт, многіе годы их питавшій, писатели эти все болѣе чувствуют себя потерянными в литературѣ, являющей им лишь свое внѣшнее, бумажное бытіе. Грэвса забавляют ни

к чему не обязывающіе и ничего не значащіе поэтическіе и другіе эксперименты. Гемингуей посвятил нѣсколько лѣтъ жизни изученію боя быков — подлинной реальности, по сравненію с призрачной (для него) литературой. Олдингтон пишет роман за романом, но живут в них, кусками, как в «Смерти героя», только сгустки крови свидѣлствуют о себѣ.

Такія же свидѣлства составляют существо всѣх писаній Анри де Монтерлана и Дріе-ла-Рошеля, самых показательных людей того же поколѣнія во Франціи. Одна из книг Дріе начинается словами: «Как бы далеко я не восходил в прошлое моего сознанія, я нахожу в себѣ потребность быть человѣком». Желаніе как будто вполне законное, однако именно эта потребность быть человѣком и мѣшает ему, как и Монтерлану, сдѣлаться до конца писателем. Правда, Дріе утверждает, что и «человѣком» ему стать не удалось, «ни воином, ни святым, ни поэтом, ни любовником» и что поэтому осталось ему одно — писать романы, т. е. предаться вымыслу и от себя уйти в литературу. Но в том то и дѣло, что трудность для него вовсе не в том, чтобы найти себя, а в том, чтобы себя потерять и тѣм самым выразить себя в искусствѣ. Человѣком он остался в той мѣрѣ, в какой им был всегда, и этого человѣка — одного — мы как раз и находим во всѣх его романах, которым больше всего не хватает вымысла. Точно также и Монтерлан, при еще гораздо болѣе сильном художественном дарѣ, неизмѣнно прикован к себѣ, заморожен собой, не в силах отдаться собственному творчеству, которое раскрывает перед ним не міръ, а лишь каталог жестов, поз и ролей доступных ему в мірѣ и, дав ему перелистать страницу, другую, ввергает его вновь в безысходную скуку, обратно к самому себѣ. Книги таких писателей, как эти два, интересны ровно постольку, поскольку интересны их авторы. Существенно в них не то, что онѣ строят, куда идут, а то, откуда онѣ исходят. И, конечно, всегда были книги, важныя только, как свидѣлство, как «до-

кументы», как нѣчто только «человѣческое», но, кажется, прежде не существовало книг, которымъ именно эта человѣчность мѣшала бы стать искусствомъ. Удивительно не то, что романы Монтерлана и Дрие художественно недосозданы, недостаточно значительны, как романы; удивительно, что они выходят такими именно потому, что интересны и значительны их авторы. Человѣку не всегда дано воплотиться до конца в художника, но странно, когда он не вполне художникъ именно потому, что он слишкомъ человѣкъ.

Можно ли винить отдѣльных писателей или цѣлое поколѣніе ихъ в томъ, что они не справились с этимъ парализующимъ творчествомъ противоборствомъ духовныхъ силъ? Конечно нѣтъ; да и не въ ихъ личной неспособности тутъ дѣло. Разладъ переживается не худшими, а лучшими изъ нихъ; его корни проникаютъ в большую глубину; судъ надъ нимъ означалъ бы судъ надъ всей современной культурой. Не ограниченъ онъ и поколѣніемъ, о которомъ до сихъ поръ шла рѣчь: в болѣе старшемъ его не избѣжалъ ни Лоуренс, несмотря на его пафосъ ни Моріакъ, несмотря на его католичество. Оба эти автора исповѣдью и проповѣдью разрываютъ волшебство вымысла и замкнутость романа. К англичанамъ и французамъ можно было бы присоединить многихъ нѣмцевъ, итальянцевъ, многихъ русскихъ, — если не изъ тѣхъ, что остались в Россіи, гдѣ cadaго давитъ заказъ, и матеріалъ поглощаетъ одновременно форму и содержаніе, то изъ тѣхъ, что пишутъ или пытаются писать в эмиграціи, гдѣ души обнажены, почти какъ на войнѣ, и борьба за сохраненіе (хотя бы и духовное) голаго «я» мѣшаетъ ему стать личностью и раскрыться в творствѣ. Вся литература сейчасъ полна отвращеніемъ к литературѣ: к готовымъ ея формамъ, приспособленіе къ которымъ оплачивается слишкомъ дорого, а дается черезчуръ легко, к литераторской спеси и журнальному вранью, к фіоритурамъ и орнаментамъ, к позорной гладкости подравнивающей и причесывающей мысль, к словесной истинѣ, к поддѣльной красотѣ, к напыщенной и напускной морали.



Пусть увлекаются, путают, так яростно кричат о голом король, что заглушают и сказку, в которой о нем сказано, пусть принимают высьсел за ложь и творчество за припрятыванье жизни, все таки — положи руку на сердце — развѣ отвращеніе это не оправдано?

Оно оправдано, потому что в самом дѣлѣ существует в том же явленіи его другая сторона: литература для литераторов, литература оторвавшаяся от человѣка. Она существует, как давным давно установленная, до мелочей разработанная система жанров, стилей, манер, примов, чего угодно: только выбирай. Система допускает участіе в ней все новых и новых лиц, но участіе это дѣлает замѣтным, выдвигает вперед, лишь при условіи усовершенствовать какую нибудь ея часть, включить еще неизвѣстный механизм в сцѣпленіе привычных механизмов. От писателя требуется даже не «*frisson nouveau*» (как довольно таки безцеремонно Гюго выразился о Бодлерѣ), а лишь новый «эффект», как о том говорил еще Гоголь: «Всякій от перваго до послѣдняго, топорщится произвести эффект, начиная от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надобдают и, может быть, XIX вѣк по странной причудѣ своей, наконец, обратится ко всему безъэффктному.» Девятнадцатый вѣк, как мы знаем, надежды этой не оправдал, а двадцатый и самую безъэффектность сдѣлал эффектом. Арсеналом всѣх приемов и значит всѣх эффектов обладает писатель во всеоружіи мастерства. Но бѣда в том, что само это мастерство и загоняет писателя в тупик, он не знает куда примѣнить его, что с ним дѣлать. До поры, до времени можно обойтись при помощи все растущих тонкостей и усложненій, побѣждать литературу усугубленіем самой литературности; так и поступают в наше время такіе, на примѣр, глубоко одаренные люди, как Вирджинія Вульф или Жироду. Но в таких случаях писателю все больше начинает измѣнять чувство жизни, пока оно не исчезнет совсѣм, уступив мѣсто нѣкоей разсудочной иллюзіи. Как человѣкъ, он может быть и вполне нормально уча-

ствует в жизни, но как художник выпадает из нея. Он все может и ничего не должен; он ищет сильнаго и рядом вышшняго принужденія. В поэзіи, Малларме и Валери дали классическіе примѣры потребности в заказѣ, и даже предсмертныя истерическіе вопли Андрея Бѣлаго, требовавшаго от «партіи», чтобы она его вела (т. е. собственно принудила бы его творить) объясняются не одной лишь затравленностью и нуждой в подачкѣ.

Что такое марево литературы, оторвавшейся от жизни, что такое литературная жизнь, это всѣ знают, это знал Блок (когда писал «Друзья» и «Поэмы»), это знает Клодель, у котораго есть стих: «L'homme de lettres, l'assassin et la fille de bordel, это можно узнать, если заглянуть в сплетническія записи Гонкуров, в многотомную пустыню дневника Жюлья Ренара, или в удручающія записки Арнольда Беннета, гдѣ даже нѣтъ и литературы, а есть лишь литераторство, спесь и гонорар, всего же проще — в литературное кафе, гдѣ литераторы бесѣдуют о литературѣ. Живому человѣку все это трудно перенести. Читатель поэтому и обращается к біографіям и автобіографіям, к психологическим и прочим «документам», что жизнь и человѣка он находит только в них. Движимый тѣм же отвращеніем и той же потребностью, «документы» начинает предлагать ему и сам писатель. Вмѣсто романа или драмы пишет он воспоминанія, исповѣдь, психоаналитическія признанія, вродѣ тѣх, какія требуются от пациентов Фрейда. В худшем случаѣ излагает нормальную или клиническую біографію своих знакомых; в лучшем (все таки в лучшем) рассказывает о себѣ, выворачиваясь наизнанку по возможности полнѣе, чѣм кому либо удалось вывернуться до него. Иные авторы пишут нарочито наперекор литературѣ: в беспорядкѣ, уличным языком, не сводя никаких концов с концами; в Германіи их развелось множество послѣ войны; французов, менѣе привычных, тѣм же способом напугал и восхитил Селин. Всѣ эти, если можно так выразиться, автобел-

легристы забывают заповѣдь даже не романиста или драматурга, а философа Киркегора: «Писателю, пользующемуся собственными переживаніями, душевный такт внушает никогда не выкладывать всю правду без разбора, но хранить ее при себѣ, сообщая лишь многообразныя ея преломленія». Киркегор не рекомендует обмана, — он был очень правдивый человек — но он понимает, что правда не математическая, а человеческая правда вообще не высказываема иначе, как в преломленіи, в иносказаньи, в вымыслѣ. Но до этого нѣтъ дѣла нашим современникам; они только и бредят о том, чтобы сорвать литературные покровы, обнажить сокрытое нутро.

Потребность эта оправдана; мы это уже признали. Но она осуществляется невѣрно; это тоже слѣдует признать. Безблагодатная исповѣдь никого не измѣнила и не измѣнит. Разоблаченное нутро — такая же ложь, как и красивыя слова. Безформенность и формализм, документ и пустая техника — явленія равнозначныя, симптомы того же самаго распада. Распад можно лишь ускорить, если усилить удареніе на одной из распавшихся сторон. Предмет «человѣческаго документа», только человек, есть умаленіе подлиннаго человека. Там, гдѣ «уже не голос, только стон» недалек уже и крик животнаго, а то и скрип плохо смазанной машины. Искусство без человека — не вполнѣ искусство, но и человек в существѣ своем оторванный от искусства — не весь, не полный человек. Разлад можно побѣдить лишь возстановив расколотое единство, так чтобы не было больше ни «прежде всякой литературы — «я сам», ни «прежде моей (или чужой) личности — моя литература». Борьба человека с творцом погаснет лишь в творческой душѣ воскресшаго в своей целостности человека.

## О ГУМИЛЕВЪ.

Издательство «Петрополис», в ознаменованіе пятнадцатилѣтія со дня смерти Н. С. Гумилева, выпустило двѣ его книги: второе изданіе третьяго сборника стихов «Чужое небо» и, печатаемую в первый раз, драматическую поэму «Гондла».

Изданіе «Гондлы» — несомнѣнная заслуга издательства перед всѣми, кто интересуется творчеством Гумилева; но немного досадно, что вмѣсто послѣдней крупной вещи Гумилева, также еще неопубликованной, — «Отравленная Туника» (рукопись которой, кстати, имѣется в Парижѣ), «Петрополис» предпочел перепечатать «Чужое небо» — книгу раннюю и, сравнительно, слабую.

Хотя широкая извѣстность Гумилева началась с четвертой его книги «Жемчуга», «Чужое небо», тѣм не менѣе, не является открытіем для читателя. Сам Гумилев перепечатал многія стихотворенія из «Чужого неба» в «Жемчугах» и в других книгах («Дѣвушкѣ», «Сомнѣніе», «Сонет», «Она», «Жестокой», «У камина», «Обсвенец», «Ослѣпительное»); такія стихотворенія, как «Из логова змѣева», «Современность», «Паломник», «Абиссинскія пѣсни», «Открытіе Америки», в свое время, в Россіи, многіе знали наизусть и здѣсь всякій мало-мальски освѣдомленный читатель видит их не впервые, тогда как «Отравленная туника» была бы интересна не только для зарубежнаго читателя, но и для изслѣдователя творчества Гумилева, которому,

в условіях эмиграціи, важно было бы имѣть перед собою возможно болѣе полно гумилевское наслѣдство.

Во время своего пребыванія в Англии, перед отъѣздом в Россію, Гумилев работал над циклом шотландских и ирландских легенд. Исторія Гондлы, ирландскаго королевича, воспитаннаго в странѣ викингов, и сумѣвшаго своим примѣром обратить воинственных скандинавов на путь христіанства, составляет сюжет «Гондлы».

С чисто художественной точки зрѣнія «Гондла» не представляется большой удачей Гумилева. Несмотря на прекрасные стихи, которыми написана поэма, несмотря на благородство сюжета и на отдѣльныя блестящія мѣста (напримѣр, когда, всѣми оставленный, Гондла обращается с рѣчью к лѣсу, скалам и морю), поэма в цѣлом слишком «литературна», в стилизованно-шекспировских тонах. Но, принимая во вниманіе отношеніе самаго Гумилева к тому, что он считал самым достойным для поэта, для героя, интересно, что Гондла не принадлежит уже к «сильным, злым и веселым», он горбун-калѣка, отказавшійся от поединка чести, и его побѣда над храбрыми викингами-язычниками состоит в отказѣ от земной чести и славы, он побѣждает не силой, а нищетой духа.

В интересной вступительной статьѣ Георгія Иванова, предпосланной «Чужому небу», автор, в теченіе долгаго времени близко знавшій Гумилева, так характеризует нам его взгляды на жизненное и поэтическое дѣло:

«Гумилев твердо считал, что право называться поэтом принадлежит только тому, кто в любом человѣческом дѣлѣ будет всегда стремиться быть впереди других, кто, глубже других зная человѣческія слабости, эгоизм, ничтожество, страх смерти, будет на собственном примѣрѣ каждый день преодолевать в себѣ «ветхаго Адама». И — от природы робкій, тихій, болѣзненный, книжный человѣкъ, он приказал себѣ быть

охотником на львов, солдатом, награжденным двумя георгіями, заговорщиком, рискующим жизнью за восстановление монархіи. И то же, что со своею жизнью, он продѣлал над своею поэзіей. Мечтательный, грустный лирик, он сломал свой лиризм, сорвал свой неособенно сильный, но необыкновенно чистый голос, желая вернуть поэзіи ея прежнее величіе и вліяніе на души, быть звенящим кинжалом, «жечь» сердца людей.»

Побѣда, слава, подвиг — блѣдныя  
Слова, затерянные нынѣ,  
Гремятъ в душѣ, как громы мѣдныя,  
Как голос Господа в пустынѣ.

При жизни нѣкоторые упрекали Гумилева в позерствѣ; их раздражала внѣшняя маска Гумилева, его поза мэтра, его формальный подход к стихам. Но, по существу, Гумилев был искренне, чѣм казался. Жизнь свою он ломал и умереть сумѣл — мужественно, спокойно, не для позы, а во имя принятаго на себя внутренняго подвига. Столь заботившійся о безупречном формальном мастерствѣ, Гумилев хотѣл большаго, чѣм просто писать хорошіе стихи. Он искалъ способа вернуть слову его прежнюю силу, которой обладало слово в тѣ дни, когда

Солнце останавливали словом,  
Словом разрушали города.

Он мечтал вернуть поэзіи ея магическое значеніе. Вспомним «Дракона», гдѣ сила слова побѣждает смерть, — и, несомнѣнно, в представленіи Гумилева, идеальная поэзія, подобно пѣснѣ Орфея, должна была имѣть власть над смертью.

Для того, чтобы сдѣлать себя достойным возвыситься до такой поэзіи, Гумилев предписал себѣ жизненный подвиг, рисковал — не только головой, но и самым для него страшным — возможностью творческой неудачи.

Как средство для нахождения Слова, Гумилев избрал подвиг. В том, как он понимал борьбу с «ветхим Адамом», была для него — роковая ошибка, которую он начинал сознавать в послѣдніе годы жизни — начинал понимать, что в его блестящей поэзии не все благополучно.

Молодой Гумилев велѣл себѣ стать героем и совершать подвиги во внѣшнем мірѣ. Подвиг он понимал, как понимали его гомеровскіе герои, — но «ветхій Адам», по настоящему, преодолевается Евангелием. Уже в «Колчанѣ» Гумилев чувствует этот разлад, неблагополучіе:

Простой рыбак Тебѣ дороже  
Великолѣпнаго волхва.

и далѣе, в том же стихотвореніи, очень примѣчателен конец:

В мой самый лучший, свѣтлый день,  
В тот день Христова Воскресенья,  
Мнѣ вдруг примнилось искупленье,  
Какого я искал вездѣ.  
Мнѣ вдруг почудилось, что, нѣм,  
Изранен, наг, лежу я в чащѣ,  
И стал я плакать надо всѣм  
Слезами радости кипящей.

Поиски Слова должны были привести Гумилева к тому состоянію внутренняго перегоранія, когда человек добровольно отказывается от всего внѣшняго, добровольно становится нищим духом. В стихотвореніи «Память» («Огненный Столп») Гумилев как бы подводит итог своим «перемѣнам души» и как бы прощается со своим любимым «воплощеніем» в «мореплавателя и стрѣлка». Чрезвычайно интересно у Гумилева и его, как бы нарастающее, (первый мотив еще в «Чужом Небѣ» — «Сонет») ощущеніе неразрушимой жизни

души, ощущение как бы «четвертаго измѣренія», сильно замѣтное в «Огненном Столпѣ» («Душа и тѣло», «Шестое Чувство»), особенно — в стихотвореніях «У цыган» и «Заблудившійся трамвай», которыя, сами по себѣ, — открывают нам новаго Гумилева, того, каким он становился наканунѣ своей преждевременной смерти.



Д. Мережковский. Лица Святых (От Иисуса к нам).  
т. I: Павел. Августин. Петрополис. 1936.

Если бы писателям принято было давать прозвища; опредѣляющія основную их черту — как это иногда дѣлается с государственными или военными дѣятелями, или как Мережковский в новой своей книгѣ пробует «опредѣлить» святых («Достопочтенный», «Удивительный», «Любезный») — то самому Мережковскому надо было бы дать то же прозвище «Удивительнаго». Этот эпитет в примѣненіи к нему отнюдь не пустой риторическій комплимент, он полон реальнѣйшаго смысла: Мережковский, на самом дѣлѣ, постоянно удивляет. При поверхностном чтеніи кажется, что Мережковский пишет всегда о том же, но внимательный читатель должен признать, что едва ли не в каждой новой книгѣ Мережковский дает не то, что от него ожидаешь по предыдущим. Дѣло, конечно, не в темѣ Мережковскаго, которая всегда едина — не может не быть единой у всякаго подлиннаго писателя, а особенно у такого насквозь пронзеннаго метафизикой, как автор «Иисуса Неизвѣстнаго». Внутренне эта тема развивается согласно своей очень строгой, почти непрееркаемой логикѣ. Но если смотрѣть извнѣ, то в этом развитіи — на каждом шагу неожиданности: неожиданности сюжета, в который тема облекается (напр, в «Наполеонѣ» — ибо сюжет свойствен не одной беллетристикѣ, а также исторіи и философіи), неожиданности интонаціи, как в «Павлѣ» и «Августинѣ».

Послѣднюю неожиданность особенно важно отмѣтить и понять, ибо она вскрывает существеннѣйшую сторону устремленій Мережковскаго, так часто превратно понимаемых. Прислушаться к интонаціи необходимо: без этого можно оцѣнить историческій метод Мереж-

ковскаго, его художественныя достоинства, отдѣльныя его мысли, но обязательно пройдешь мимо единственно важнаго — творческой его личности. Но предварительно надо сказать нѣсколько слов о мѣстѣ, занимаемом «Лицами Святых» в линіи развитія уже упомянутой темы.

Не только чисто тематически, но и исторически-сюжетно новый цикл Мережковскаго — прямое продолженіе «Исуса Неизвѣстнаго». По прежнему, сочетая научное изслѣдованіе и интуитивное проникновеніе в метафизическую суть явленій — «исторію» и «мистерию» — Мережковскій стремится постигнуть смысл «теченія времен», то алгебраическое уравненіе, которое он опредѣляет:  $a + b + c = a + b + c + x$ , гдѣ неизвѣстное  $x$  символизирует «чудо», «свободу», «дух». Но что же тогда означает подзаголовок «От Исуса к нам»? Что может измѣнить «исторія» в «мистеріи»? Вѣдь  $x$  — тогда внѣ времени, м. б. «не от міра сего», во всяком случаѣ в исторіи не мѣняется. Мережковскій и не говорит об измѣненіи по существу — и все таки исторія не случайность, не «кажущееся» («есть как бы не есть») даже в планѣ мистеріи. Что то, в мірѣ мѣняется ежеминутно.

«Кажется, в дни Гомера — пишет Мережковскій, — глаз человѣческой не отличал зеленого цвѣта от голубого, а в наши дни уже отличает, м. б. потому, что за 3.000 лѣт в человѣческом тѣлѣ что то измѣнилось — пошло вперед; так же точно измѣнилось м. б. что то, вперед ушло, и в человѣческом духѣ, за полторы тысячи лѣт христіанства, от Августина до нас, и по тому, как измѣнилось, можно судить о том, куда и как движется в человѣчествѣ дух.»

Значит ли это, что Мережковскій, устремленіе котораго мы привыкли считать «апокалиптическим», перевел стрѣлку своих часов с «вѣчности» на «исторію», принялъ вѣру в прогресс, в его неизбѣжность и благо?

Не в человѣческой прогресс, во всяком случаѣ. Дви-

женіе идет ко «Граду Божьему», отнюдь не к «Граду Земному» — но в исторіи оба града «смѣшаны», поэтому и ко второму нельзя остаться без вниманія. Движеніе идет м. б. даже *помимо* челоуѣчества, если же через него, то только в лицѣ лучших его представителей. Выбор Павла и Августина, как начавших путь «от «Исуса к нам», таким образом, уже достаточно показателен для представленія Мережковскаго о направленіи этого движенія. Но еще показательнѣе то — какими именами Мережковскій эту линію продолжает. «Если бы он жил в наши дни, он был бы наш», скажет о нем (Августинѣ) Лютер; то же мог бы сказать и Паскаль (ученик Янсенія, ученика Августина), в XVII вѣкѣ» — пишет Мережковскій. Итак: Павел, Августин, Лютер, Паскаль. Развѣ можно было выбрать болѣе свободную, менѣе догматически-холодную, болѣе челоуѣчески-правдивую и убѣдительную дорогу?

Неслучайность этого выбора и подтверждает новая (впрочем, такая ли уж неожиданная?) интонація Мережковскаго. Его почему то принято считать «холодным», «нечелоуѣчным», даже «безчелоуѣчным». Конечно, он безжалостно, порой жестко, «открывал нам глаза» на наши язвы, не давал «успокоиться», требовал, чтобы мы «обратились», т. е. «перевернулись». Но означало ли это отсутствіе любви, теплоты? Мнѣ этот вывод всегда казался малодушным. Послѣ «Павла» и «Августина» не остается больше сомнѣній: Мережковскій заговорил так тепло и любовно, с таким «состраданіем», что большаго «сочувствія» нельзя и требовать. Не опыт церковный, не опыт избранных — челоуѣчскій, м. б. даже всечелоуѣчскій опыт. «Как это не странно — пишет Мережковскій о Павлѣ — первый, все для него рѣшающій опыт единоличен, внѣцерковен. . . не это от Церкви, а Церковь от этого». И еще: «Вот гдѣ опыт Павла есть опыт не только святых, но и наш. Вѣдь и мы — такіе же грѣшники, как Савл, с тою лишь разницею, — увы, не в нашу пользу, — что он себя считает «извергом», а мы себя — недурными

людьми». Еще яснѣ эта «человѣчность», общность предначертаннаго всѣм пути — в Августинѣ этом «мыслящем тростникѣ», «Святом интеллигентѣ», мучающемся, как и мы, разладом между вѣрой и разумом и не могущем отказаться от своего «мышленія». Человѣчность эта не только біографическая, но и сознательная. Павлом руководит любовь — «не только общая, ко всѣм людям вмѣстѣ, но и к каждому в отдѣльности». А Августин прямо говорит: «Братья мои, я не хочу спастись без вас».

«Братья мои, я не хочу спастись без вас» — говорит и Мережковскій на каждой страницѣ своей книги. Вот откуда и нѣкоторая его «соціальность», его вниманіе к «Граду Земному — Риму», к воплощаемой в нем человѣческой культурѣ. Вот откуда сам тон этой книги, так чудесно потемнѣвшій. Нѣсколько удивляет, что и тон и устремленіе эти впервые так ясно прорвались у Мережковскаго там, гдѣ он говорит о «страшном», почти «возмутительном» понятіи предопредѣленія. Как совмѣстить предопредѣленіе и этот возглас «Братья мои». . . Ужас ли неслыханный — тайна предопредѣленія или и впрямь по Павлу—Радость, и по Паскалю — «Радость, радость, слезы радости»? И как сочетать «избранность» и «свободу, уничтожающую Закон»? Парадокс? — Возможно. Но в планѣ «исторіи — мистеріи» Мережковскій уже давно опредѣлил, что «чѣм страннѣе — тѣм достовѣрнѣе». И уже не в видѣ вопля отчаянья, а в видѣ точной и достовѣрной надежды, понемногу раскрывает он то, что является для него подлинным и сколь неожиданно-радостным смыслом предопредѣленія: «хочет Бог, чтобы всѣ спаслись» (слова Павла). И хотя Августин и предупреждает, что «наше спасеніе остается до конца жизни невѣрным» — Павлова увѣренность звучит и в нем, не отмѣняя, конечно, трагедіи, но таинственно и радостно преображая ее.

Ю. Мандельштам.

*М. Агъев.* «Роман с Кокаином». — Издательская коллегія парижскаго объединенія писателей.

«Повѣсть с кокаином», печатавшаяся отрывками в одном уже исчезнувшем с тѣх пор журналѣ и так неудачно переименованная теперь (должно быть совсѣм не по волѣ автора), сразу же обратила на себя вниманіе, как произведеніе писателя впервые выступающаго в литературѣ и несомнѣнно одареннаго. Впечатлѣніе одаренности остается и сейчас, хотя недостатки книги и становятся замѣтней во втором, болѣе внимательном ея чтеніи.

О дарованіи любого автора можно судить по словесной ткани его книг, по степени ея свѣжести, по силѣ проникающей ее жизни, и это независимо от того, пишет ли он языком нарочито украшенным, насыщенным (как у нас Ремизов или Лѣсков) или напротив (как Стендаль) подчеркнута сухим и трезвым. Словесная ткань Агъевской книги несомнѣнно жива, подобна протоплазмѣ, а не сукну, даже и хорошей выдѣлки. Она жива, несмотря на то, что, как у большинства эмигрантских писателей младшаго поколѣнія, знаніе русскаго языка не поспѣвает у него за чувством прозаическаго стиля. «Первый пушистый снѣг, словно осколки мрамора в синей водѣ, медленно падал на Москву»; это и хорошо увидено, и хорошо сказано. «Руководимый той страшной увѣренностью, будто осторожность при нажатіи курка сдѣлает выстрѣл менѣе оглушительным»; это (в данном контекстѣ) тоже хорошо, и психологически, и литературно. Таких удач в книгѣ довольно много. Ея вторая часть начинается, однако, так: «Бульвары были как люди: в молодости, вѣроятно, схожіе, — они постепенно мѣнялись в зависимости от того, что в них бродило». Вялая мысль здѣсь выражена претенціозно и до крайности неуклюже. «Стыдливость относительно высказыванія своих душевных сторон» или «тревожный звонок (. . .) приобрѣл для меня характер радостной, волнующей значимости», — это уж совсѣм плохо, и неизвѣстно также зачѣм автор

упорно называет подкову копытом (стр. 23 и 25). Настаивать на таких неграмотностях было бы однако несправедливо. Всѣ дефекты языка исправимы, кромѣ врожденной его мертвенности.

Пороком этим отнюдь не поражено и само повѣствованіе Агѣева. Он умѣет заставить нас пережить переживанія его героя, замкнуться вмѣстѣ с ним в жалкій и смрадный круг его существованія. Это уже совсѣм не мало, хотя для настоящаго романа с его цѣлостно воображенным міром и живущими полною жизнью людьми этого и недостаточно. Повѣсть написана в первом лицѣ. Все что пассивно испытывает ея герой — среди классных товарищей, во время ночного кутежа, при соприкосновеніи с женщинами или от понюшки кокаина — все это передано очень убѣдительно, но убѣдительностью этой передачи и исчерпывается художественный смысл и духовное содержаніе книги. Остальныя дѣйствующія лица живут не сами по себѣ, а лишь с точки зрѣнія героя и по отношенію к герою. Читая о них, мы чувствуем, что рассказчику они интересны лишь в силу их связанности с его собственной судьбой, но дабы заинтересовать ими и нас он слегка шаржирует характерныя их черты, а затѣм удивляется собственному шаржу. Разсужденія, вставленныя в книгу, рѣчи Буркевича и школьнаго батюшки, напримѣр, или письмо Сони, или философскіе выводы из кокаинных пережваній, недостаточно продуманы, чтобы быть интересными сами по себѣ, и недостаточно связаны с конкретными человѣческими образами, чтобы оказаться органически вплетенными в неразрывную ткань романа. То, что рассказчик пережил, живет, — но исключительно жизнью самаго рассказчика. Мы читаем агѣевскую книгу, как читали бы подлинныя, документально-интересныя воспоминанія Вадима Масленникова, ея героя, человѣка писательски одареннаго. От романиста, от художника требуют не только этого, или даже требуют совсѣм другого.

Но не будем судить книгу за то, чего в ней нѣтъ (тѣм

болѣе, что этого нѣтъ и во многих других книгах). Агѣев дал нам, что мог, и мы не отвергаем его дара. В его книгѣ есть правда и грусть, идущія из глубины; она мѣстами беспомощна, но нигдѣ не поддѣльна. Не понравится она может; но ее не так легко забыть.

*В. Вейдле.*

*В. Катаев. «Блѣдет парус одинокій». Госиздат 1936.*

Среди безчисленных «высказываній» и «показов», среди книг «зовущих» и «доказывающих», повѣсть В. Катаева «блѣдет одиноким парусом» непосредственности, свѣжести и какой то трогательной скромности.

Книга Катаева — повѣсть о жизни и приключеніях двух мальчиков, из которых один едва ли не сам автор. Есть, конечно, и обязательный совѣтскій сюжет — бѣгство бывшаго «потемкинца», революція 1905 года, вооруженная борьба, погромы. . .

Катаев, талант котораго в простом, ясном — «цѣлком» — ощущеніи жизни, опирается, в развитіи этого рассказа, очевидно на собственныя свои дѣтскія воспоминанія, поэтому он пишет — его — увѣреннѣе, проще, безозшибочнѣе, чѣм другія свои произведенія, поэтому он легко преодолевает и «очеловѣчивает» обязательную сторону сюжета — революціонные подвиги Гаврика, Пети, «большевика» Терентія.

«Борьба классов» — разница условій существованія и психологій двух мальчиков — взята с бытовой и человѣческой стороны — потому оправдана и убѣждает.

Впрочем и время, о котором пишет Катаев, не наше скучное время стахановских достиженій и бюрократической революціонности, а романтическая эпоха возстаній, конспирацій, борьбы одного против всѣх.

И обстановка, гдѣ происходит дѣйствіе повѣсти так гармонирует с наивным романтизмом, с незатѣйливой

ея фабулой — привольная, немного безалаберная жизнь южнаго портоваго города и — море, море, море.

Катаев любит и ощущает море, как человек, который узнал его безошибочно и навсегда: в предразсвѣтном туманѣ, в погонѣ за «косяком» макрели, под ласковым утренним солнцем, в бессонных ночах у костра с одесскими «рыбалками». Ему не нужно выдумывать и сочинять — он просто воскрешает свои воспоминанія.

Вот почему, не будучи «большой» книгой, повѣсть Катаева радостно волнует и обнадеживает — вѣдь можно, значит, простотой, непосредственностью, талантом преодолѣть даже «соціальный заказ».

П. С.

*Юрій Герман. «Наши Знакомые». Москва. 1936.*

Какая это радость — хорошая книга. Но как рѣдко нам дѣлают такіе подарки. Книга Юрія Германа, мнѣ кажется, еще не полная удача, но все же из нея тянутся такія нити подлинной, таинственной жизни («протоплазмы»), которыя поддѣлать и забыть не хочется.

Нѣкой Антонинѣ в результатѣ всяческой, впрочем знакомой, гимнастики, в какую то пору ея жизни, — больше уже нечего дѣлать. Анна Каренина, Мадам Бовари, чуточку — Настасья Филипповна. В противоположность установившемуся обычаю, Юрій Герман рѣшил свою героиню спасти, — и растянул роман на 600 с лишним страниц. Когда Антонина уже «готова» (под поѣзд, стрихнин, кабак, или так, подобно Ивану Ильичу, протянуть ноги), в книгу входит новая сила (или старая, но по новому направленная). Наши знакомые. Не всѣм знакомые обыватели: собутыльники, партнеры по винту, великосвѣтскія дуры и пр. . . нѣт, а люди со сложной біографіей, бойцы за новую жизнь,



строители, комиссары. Они спасают Антонину, выводят ее на широкій путь творчества (о котором она всегда мечтала). Она учится по ночам. Конечно, немного смѣшна «Анна Каренина», которая алгебры не знает и от формулы квадратнаго уравненія получает нравственнее удовлетвореніе (этакую спасти легче). Ей поручают отвѣтственную работу: организовать ясли, больницу, «комбинат». Трибуна, музыка, привѣтствія, благодарность «раскрѣпощенных» матерей и хозяек. Антонина чувствует, она нужна, она любима, она полноправный член новаго общества.

Попутно люди в безконечных діалогах рассказывают свои путанныя біографіи. Болтливы, болтливы «непреклонные бойцы» (или это авторы болтливый?) В своей послѣдней книгѣ «Дорога на Океан» Леонов на 625 с. рассказывает устами героев чью-то безконечную біографію, которую нѣтъ ни сил, ни основаній дочитать.

Наконец Антонина встрѣчает своего суженаго. И читатель расположено закрывает книгу. Теперь Антонинѣ 30 лѣтъ, алгебру она уже знает, в сущности конфликт лишь теперь начинается: что дальше? Что ждет ее? Впереди?

Но за 1-ую часть, гдѣ юность и рост, благодарность к автору остается. «Одна ея рука была поднята немного кверху ладонью наружу, а другая была чуть опущена, щеки ея разрумьянились, глаза ласково и тепло блестяли и вся она излучала такое сіяніе молодости, силы, легкости, такую благостную и подлинную красоту, такую юную и напряженную жизнь...» Это почти Толстовское описаніе — колдовство. Да, Толстовская тайна — смѣсь, подлинная ткань жизни, не однородная, а переплетающаяся, противорѣчивая и добротная, — вѣет над этой частью книги. Роман начинается 1925 годом. Характерно, что «Толстовская», благодатная часть книги — соотвѣтствует годам НЭПА. А там дальше, с пятилѣткой, начинается, — схема. Радоваться тут нечему; я только описываю факт.

*В. Я—скій.*

## I

Должность стихотворнаго рецензента в альманахах «Круг» оказалась сложнѣе, чѣм я думал: «Круг» выходит медленно — и страница «о новых книгах» растянулась почти что на полтора года. Трудно, считаясь с мѣстом и имѣя за плечами два готовых обзора, два обзора, написанных почти с годовым промежутком, присоединить к прежде написанному и этот обзор так, чтобы придать статьѣ общій тон. Условимся поэтому, что каждый обзор связан с другим лишь как высказыванія одного и того же автора о новых книгах стихов в разное время.

Поэзія *Георгія Иванова*, о которой кстати было бы сейчас поговорить в связи с выходом сборника его стихов «Отплытіе на остров Цитеру», заслуживает отдѣльной статьи — к ней мы еще вернемся в слѣдующем номерѣ «Круга».

Всякое собраніе избранных стихотвореній, хотя бы и сдѣланное самим автором, всегда бывает неполным. В данном случаѣ также приходится пожалѣть об отсутствіи нѣкоторых стихотвореній из «Вереска» и «Садов». В первой части, в которую вошли новые стихи Г. Иванова, представлено также далеко не все, что было им напечатано за послѣдніе годы. Тѣм не менѣе, путь, пройденный Г. Ивановым от ранних стихов до настоящаго времени очень показателен в смыслѣ развитія и углубленія его темы.

Мнѣ кажется, что именно в «Розах» Г. Иванов нашел себя, а прежніе его стихи, в которых, конечно, были всѣ составные элементы его теперешней лирики, все-таки не совсѣм равноцѣнны поэзіи Иванова эмигрантскаго періода. Замѣчательно, что несмотря на высокую оцѣнку поэзіи Г. Иванова, у нас как то еще не вполне отдают себѣ отчет в том, кѣм стал Иванов именно в эмигрантскій період. Иванова обыкновенно считают представителем т. назыв. «петербургскаго періода» (каким он и был в «Садах» и в болѣе ранних книгах, т. е. в какой то мѣрѣ связанным с прежней эпохой, слегка несовременным. Но лирика «Роз» — это как раз явленіе той *послѣреволюціонной поэзіи*, о которой столько говорили и которую так ждали. Именно поэтому «Розы» так выдѣляются на фонѣ всего, что было написано за послѣдніе 15—20 лѣт в Россіи и в эмиграціи. Г. Иванов сумѣл почувствовать то, чего ни Пастернак, ни О. Мандельштам (в послѣреволюціонном творчествѣ послѣдняго) не услышали. Тема Россіи, тема крушенія, человѣческаго одиночества, гибели и прощенья, высшаго оправданья случившагося — и во внѣ, и в душѣ отдѣльнаго человѣка — открылась Иванову с новой остротой.

«Розы» и многіе стихи послѣ «Роз» — не только прекрасные стихи, рѣдкіе по своей музыкѣ; это — глубокая и страшная книга, быть может, одна из дѣйствительно страшных книг послѣдних лѣт. Под «невинными сладкими звуками» скрыта большая горечь, и отчаянье, и надежда:

... Это музыка міру прощает  
То что жизнь никогда не простит.

И это принимаю» поэта, и его заклинанья, и его горькое «хорошо — что никого. хорошо — что ничего», и вся магія слова, которой так владѣет Иванов, как бы хотят скрыть, утаить под нѣжностью и прелестью прорыв — прорыв не только в сторону логически яснаго,

но и в область невидимаго, противоположнаго нашей логикѣ и нашему понятію о счастіи и жизни, которое выше судьбы не только отдѣльнаго человѣка, но и цѣлой эпохи. Этот прорыв дѣлает стихи Иванова такими памятными. Есть безошибочный признак распознанья настоящаго поэта — когда строки его постоянно возвращаются, вспоминаются сами собой. Есть в звуковой ткани стиха такая же возвращающаяся звуковая стихія; она всегда присутствует в словесных произведеніях в извѣстной мѣрѣ, но только у прирожденнаго поэта она появляется сама собой. Рядом со стихотвореніями Г. Иванова многіе другіе стихи, порой очень искусные, кажутся надуманно-сухими, только отбивающими ритм — и недавній примѣръ такого насильственнаго сопоставленія дал всякому чувствующему поэзію читателю наглядное доказательство.

Стихи Л. Червинской, собранные в книгу «Разсвѣты», почти всѣ появлялись в свое время в различных изданіях, о них много писали и спорили — признак сам по себѣ хорошій. Можно по разному воспринимать тематику и стилистику Червинской, ея манеру — внѣшне как бы нарочито небрежную, стоящую почти на грани записи, дневника, личнаго высказыванія, но трудно с первых же строф не почувствовать, что Червинская, прежде всего, поэт очень индивидуальный. Вліяніе А. Ахматовой на послѣдующія поколѣнія поэтесс было тѣм болѣе губительным, что дѣло осложнилось особенностями женской психики. Женщина по своему существу тѣсно связана с темой Ахматовой — темой любовной, — и вот на долгіе годы вся женская поэзія была отравлена вліяніем Ахматовой, ея колея оказалась настолько глубокой, что никому — подчас очень одареным поэтессам, не удавалось остаться самой собою. Червинская была первой и, пожалуй, пока единственной, оказавшейся в состояніи найти свое личное выраженіе темѣ, дать самостоятельное и новое, в смыслѣ ощущенія, в смыслѣ внѣшней формы. Червинская очень точна и сдержанна в выборѣ, в чувствѣ слова;

ея небрежныя, на первый взгляд почти лишенные «стихотворных признаков» строки, оказываются, по провѣркѣ — наиболѣе точно передающими то, что она хочет сказать. Червинская очень чувствует всѣ оттънки слова — и разнообразнѣйшая интонація, убѣдительная и доходящая в нужный момент до читателя — ея цѣнное открытіе. Стихи Червинской человѣчны. Ея лиризм, сдержанный, грустный, какой то просвѣтленный вполнѣ избѣгает позы, декламации, перегруженности метафорами — которые иногда так портят стихи нѣкоторых талантливых поэтов. Отданье себя, отказ, ютблеск внутренняго тепла и вѣрности, вѣрности, несмотря на все, чему то главному, (Червинская глубоко права, не вполнѣ договаривая — чему) составляют основную прелесть ея поэзіи.

Книга *Антонина Ладинскаго «Стихи о Европѣ»* не приносит ничего новаго в смыслѣ дальнѣйшаго развитія темы этого интереснаго и талантливаго поэта. Та же легкость стиха, порой блестящаго (как, напримѣр, стихотвореніе о Лермонтовѣ — одно из лучших стихотвореній Ладинскаго вообще), та же, нѣсколько стилизованная грусть, тот же, слегка театральнѣй, контраст между «земным» и «небесным» и — постоянное ощущеніе Ладинскаго — сближеніе современной Европы с Римом эпохи упадка — в общем, мы находим в новой книгѣ тот же лирическій «воздух», который, вот уже десять лѣтъ, заставил обратить вниманіе на поэзію Ладинскаго. Формально — Ладинскій один из самых одаренных поэтов «эмигрантскаго поколѣнія», его чувство ритма, его образы, метафоры и умѣніе «вернуть строфу» всегда вызывают ощущеніе как бы физическаго удовольствія. У Ладинскаго есть как раз то, что так цѣнил в поэзіи Н. Гумилев. Но у Гумилева, остро чувствовавшаго «анатомію стихотворенія», блестящая поэтическая форма была дѣлом скорѣе «поэтическаго сознанія», тогда как у Ладинскаго, движимаго особенностью его дарованія, поэзія является дѣлом естественным, как птица поет, как роща шумит — и эта

естественность, искренность дают поэзии Ладинскаго большую цѣлостность и яркость, которая всегда доходит до сердца читателя.

Новые стихи *Софii Прегель*, выпустившей первую книгу два года назад, по темѣ и по приему как бы продолжают прежніе. С. Прегель принадлежит к числу поэтов, ставящих себѣ прежде всего задачу выразительности и внимательной работы над стихотворной формой.

Впечатлѣнья внѣшняго міра, отдѣльныя картинки жизни, как бы моментальные снимки, запечатлѣвшіеся в памяти и связанные с тѣм, или другим душевным настроеніем, привлекают С. Прегель. Ея память зрительна, она хочет возможно болѣе ясно и кратко передать свое впечатлѣніе. В стихах Прегель есть простота и какая то внутренняя непритязательность, благодаря которым она избѣгает искушенія искусственной сложности, столь опасной для многих поэтов.

Книга стихов *Монахини Маріи*, стихов, насквозь пронизанных религіозными мотивами, должна вызвать у читателей многія чувства. В принципѣ — вѣра, как находеніе центральнаго утвержденія, центральнаго «да» не обѣдняет и не отнимает у человѣка ничего в планѣ творческом. Вспомним, напримѣр, Св. Бернарда или Симеона Новаго Богослова, с его великолѣпными византійскими, стихами. Когда главное рѣшено — то все дѣло в том лишь, как оно рѣшено и в каком планѣ. Религія — или огонь, «из себя выхожденіе», полное перерожденіе всего существа человѣка, или — лишь внѣшне, умственно воспринятая схема, основанная на довѣрїи к чужим словам и к чужому опыту. Этими двумя крайностями искушается всякій поэт, который рискует высказываться о вещах религіозных.

Монахиня Марія поэт опытный, прошедшій в свое время прекрасную школу «Цеха поэтов». Стихотворным ремеслом она владѣет вполне — и поскольку личный религіозный опыт и несомнѣнно искреннее рели-

гіозное горѣніе монахини Маріи способно передаваться читателю — книга эта может рассчитывать встрѣтить у него тот отклик, котораго она заслуживает.

## II

Вышедшія в теченіе января мѣсяца 1937 г. книги «Годы и Камни» Юрія Софіева, «Тѣнь и тѣло» Анны Присмановой и «Ночью» П. Ставрова, составляют предмет этого обзора.

Поэты, представленные новыми книгами, не новички: самый «недавній» из них по литературному стажу в эмиграціи — П. Ставров выпустил свою первую книгу «Без послѣдствій» в 1933 году и тогда же начал печататься в зарубежных изданиях. А. Присманова и Ю. Софіев выступают на литературных вечерах и печатают свои стихи в журналах уже лѣтъ десять, об отдѣльных их вещах не раз высказывалась критика.

Тѣм болѣе интересно теперь провѣрить разрозненныя впечатлѣнія от отдѣльных стихотвореній. На литературных собраніях, или в журнальных стихотворных отдѣлах, часто то или другое стихотвореніе привлекает вниманіе, но не всегда отдѣльные «хорошіе стихи» свидѣтельствуют о появленіи новаго поэта. Иногда, сведенные в книгу, стихи не только проигрывают, но и приносят разочарованіе. Случайный удачный образ, музыкальность нѣскольких строчек, подкупающая читка — еще не дѣлают поэта. Случается и наоборот — стихи, отдѣльно напечатанные, не дают возможности ясно представить себѣ лицо автора; соединенные же в книгу — заставляют сдѣлать «открытіе». Поэтому с таким интересом и ждешь всегда выхода книги стихотворца, уже обратившаго на себя вниманіе.

Замѣчаніе à part: послѣдователи мифа о «парижской

школь» еще раз могут воочию убѣдиться, насколько «парижскіе поэты» различны: что общаго, в смыслѣ школы, между книгами Софіева, Присмановой или Ставрова?

*Юрій Софіев* один из хороших послѣдователей гумилевской школы; он не заимствует от Гумилева только внѣшній приѣм или тематику, как, обыкновенно, дѣлают очень многіе стихотворцы, но его внутренній строй соотвѣтствует в чем то существенном гумилевскому и тематика сама собой из этого соотвѣтствія возникает. В этом внутреннем сродствѣ с Гумилевым для Софіева есть извѣстная опасность: гумилевская линия требует большой личной силы, выразительности, творческой щедрости. С формальной точки зрѣнія стихи Софіева хорошо построены. Недаром, не только как очередное увлеченіе, он

В дни юности и трудной и суровой  
Возил, под орудійный лязг и шум,  
Истрепанныя книжки Гумилева  
На днѣ сѣдельных переметных сум.

За исключеніем нѣкоторых стихотвореній (примѣчательно, что даты с 1927 по 1935 г. остаются для стихов Софіева только хронологическими отмѣтками, и не вліяют на его общую линію) — почти вся книга Софіева выдержана в одном и том же тонѣ. Он вспоминает гражданскую войну, которой сам был участником, думает о покинутой Россіи и, находясь в эмиграціи, чувствует себя связанным — если не с настоящим, то с будущим («писал стихи и жил в года какіе»); его увлекает тематика странствій (однако Софіев невольный путешественник) — «Альпы», «Бовэ», «Замок Ричарда Львиное сердце», «Версаль» и т. д. Но, наряду с прекрасной школой и талантливыми хорошими стихами, в концѣ книги есть пять или шесть стихотвореній, в которых в нѣсколько статическую лирику Со-



Фіева вырываецца што-то из другога міра: — трывога, сумнѣніе, опустошенность и какое то просвѣтленіе. Плавное теченіе стиха, равновѣсіе — смущено, нарушено, как нарушен (очень удачно) даже размѣр в стихотвореніи «Это было в сентябрѣ на хуторѣ» в послѣдней строкѣ, — но именно в этих нѣскольких стихотвореніях, в строфах, как, напримѣр, —

Но, Боже мой, с какой послѣдней жаждой  
Хотѣл я вѣрности и чистоты,  
Предѣльной дружбы, братской теплоты,  
С надеждою встрѣчался с каждым, с каждой —

Софіев стоит перед возможностью растратить свое имущество и, рискуя всѣм, вполне найти самого себя.

Книга *Анны Присмановой «Тѣн» и Тѣло»* очень удачно, примѣнительно к ея поэзіи, названа. Если поэзія есть только род замѣчательнаго издѣлія из словеснаго матеріала, по возможности в наиболѣе остро найденных, небывалых сочетаніях образов, т. е. «литература», а подлинно-человѣческое есть только тѣнь тѣлесных ощущеній, то книгу Присмановой нужно объявить очень интересной.

Душа, в небесном тюль на канатѣ  
Давно ты пляшешь в тѣсных башмачках.  
Ах, не пришлось бы дѣвѣ на закатѣ  
В концѣ смотрим остаться в дурачках.

Дѣйствительно Присмановой нельзя отказать в формальной ловкости и изобрѣтательности (к формальному блеску она очевидно, стремится). Вліянія М. Цвѣтаевой, Б. Пастернака и О. Мандельштама сказываются на протяженіи всей книги. Досадно, что Присманова не всегда может отдать себѣ отчет в том, насколько «от великаго до смѣшнаго один шаг» и, наряду с несомнѣнными находками в области стихотворчества, срывается в явно смѣшное, напримѣр: «производитель-

ница молока, корова», «а сон в отвѣт как смертник бьет в тюрьму», «вербуют ли к сухой войнѣ солдат, иль свѣжій броненосец с верфи сдвинут», «он (лебедь) как Бетховен поднимает ухо» и т. п. Въмѣсто с тѣм, во многих стихах Присмановой чувствуется и талант и сила и способность к подлинно-лирическому переживанію. Таково, напримѣр, стихотвореніе, посвященное В. Ходасевичу «Развѣ помнит садовник, откинувшій стекла к веснѣ», — лучшее стихотвореніе в книгѣ.

*П. Ставров*, самый «молодой» из рассматриваемых поэтов, поэтически является наиболѣе зрѣлым. Переувѣс того или иного элемента поэтического произведенія над другим — увлеченіе «формальными достиженіями», или «содержаніем», — постоянный грѣх молодых поэтов, тѣм самым грѣшащих против поэзіи; это го упрека Ставрову сдѣлать нельзя. Прежде всего он гармоничен и умѣет взвѣшивать свои силы. Менѣе всего его можно упрекнуть и в слѣдованіи какой либо современной модѣ. Поэзія Ставрова, на поверхностный взгляд, может показаться даже нѣсколько *retardée*, поздним декадентством, но может быть своеобразіе этого поэта и заключается именно в том, что он не боится оставаться самим собою. Еще когда мнѣ случилось писать о первой его книгѣ «Без послѣдствій», я указывал, что вліяніе Пастернака и особенно Анненскаго является слѣдствіем не только ученичества, но и внутренняго средства, особенно с Анненским. В новой книгѣ Ставрова о прямых вліяніях говорить уже не приходится, но он не отошел от своей темы. Тема Ставрова—столкновеніе между чувством обреченности человѣка и острым ощущеніем жизни. Гдѣ бы он ни был, в городѣ, на берегу моря, в полѣ, в городском кафе, человѣкъ для Ставрова всегда в центрѣ вниманія. Пріем Ставрова состоит в том, что он умышленно замыкает человѣка в круг его будничной обстановки, обыкновенных вещей, благодаря чему безисходность

жизни выступает еще рѣзче, голос звучит убѣдительно, как, напримѣр, в очень характерных для него строках:

Слѣпой переулоч. Слѣпой огонек.  
Четырнадцать вдоль — и пять поперек.  
Пустынное небо под такт шагов. . .

Или в стихотвореніях: «Все болѣе немислим сѣрый свѣтъ», «В четвертом часу утра», «Этот сон невозможно понять», «Как дымок расплывается прочь».

Перейдем теперь к книгам истекшаго сезона, о которых тоже слѣдует дать отзыв.

Среди книг, вышедших в теченіе 1935—1936 г.г. прежде всего нужно отмѣтить «Неблагодарность» А. Штейгера, которая выдвигает его в первый ряд современных поэтов, и книгу В. Мамченко «Тяжелыя птицы». Об обѣих этих книгах отзывы были даны в первом выпускѣ «Круга» и я упоминаю о них лишь потому, что без упоминанія этих имен отчет о новых книгах стихов был бы не полным.

Имя Бориса Божнева, автора «Борьбы за несуществованіе», в свое время, т. е. в серединѣ двадцатых годов, связывалось с большими надеждами. Одаренный формально, Божнев был в то время едва ли не самым зрѣлым и опытным версификатором среди тогдашних поэтов. Вторая его книга «Фонтан», вышедшая в 1927 году, принесла нѣкоторое разочарованіе:

---

Б. Божнев «*Silentium Sociologicum*», Париж, 1936. Лев Савинков «Аванпост», Париж 1936. З. Шаховская «Дорога», Брюссель, 1935. П. Гладищев «В разлукѣ», «Парабола», 1935. М. Роос «Мартовское солнце», Паллин, 1936. Изд. «Нови». Е. Базилевская «Домик у лѣса», Таллин, 1936. Изд. «Нови». Б. Новосадов «Шершавыя вирши», Таллин, 1936. Л. Гололицкій «Эмигрантская поэма», Таллин, 1936. Изд. «Нови».

Божнев остался таким же искусным, иногда даже изощренным стихотворцем, но всё стало ясно, что чуда, преображения, того, что дѣлает стихи поэзіей, в «Фонтанѣ» Божнев так и не достиг. Наконец, послѣ долгаго періода молчанья, Божнев опубликовал поэму «Silentium Sociologicum». К сожалѣнію, кромѣ возможности лишній раз отмѣтить общую талантливость Божнева, новая его поэма не принесла почти ничего. В ней есть хорошія строчки, напримѣр, в началѣ поэмы:

Повиноваться пѣнію нельзя,  
Я призываю к неповиновенью.  
Пускай поет цыганка бытія,  
Ея, ея не слушай, вдохновенье.

Отдѣльные удачныя строфы и строчки встрѣчаются во всей поэмѣ. Но в цѣлом — не получается ничего: Божневу сказать нечего. Поэма в цѣлом — умствование, изложенное в стихах, почти что публицистическая статья на заданную тему. С сожалѣніем приходится отмѣтить, что даже формальное чутье и чувство вкуса начали измѣнять Божневу: »святых серег незримый ореол увѣнчивает снизу орган слуха», или «довольно шуток, Пушкин был всерьез» — одинаково приносят одно разочарованіе.

Книга дебютанта Льва Савинкова «Аванпост» как будто бы по недоразумѣнію написана в Парижѣ, а не в Москвѣ, и вышла не в 1920 году, а в 1936. Темы ея (темы, а не тема), общій тон, наконец, даже явное вліяніе тогдашних поэтов (Есенина, «12» Блока) относятся к эпохѣ гражданской войны. Отбросив в сторону наше отношеніе к «психологіи» книги («поэт — это чернорабочій в мастерской человѣческих душ»), мы с удивленіем видим, что в 1936 году Савинков умудрился проглядѣть все, что дѣлалось в поэзіи — «эмигрантской» или «совѣтской», безразлично, за послѣдніе пятнадцать лѣт. Едва родившись, он уже оказывается ветераном. Кѣм окажется он в будущем — уви-

дим; но молодому автору слѣдует над многим подумать и очень многое узнать, если он, дѣйствительно, чувствует необходимость писать стихи.

Книга З. Шаховской «Дорога» принадлежит к тому, что обыкновенно называют «средней продукціей». Нужно отдать справедливость, что средній уровень усвоен Шаховской очень внимательно. Законныя для недавно дебютировавшей поэтессы вліянія обнаруживают чувство мѣры и извѣстный вкус (Ходасевич, Гумилев, кое кто из новых поѣтов, напримѣр С. Прегель, с которой Шаховская перекликается в стихотвореніи «Ломоть хлѣба, жирный сыр овечій»). Тематика Шаховской — общая тематика современных стихов: любовь, разлука, тоска по родинѣ, размышленія о Богѣ — в нѣкоторых мѣстах звучит искренне. Срывы — вродѣ:

«На мертвомъ сердцѣ Суламифъ,  
В руках — песок тысячелѣтій» —

лишь изрѣдка нарушают ровное, моledичное, порой нѣсколько вялое теченіе ея строчек.

Книга П. Гладищева «В разлукѣ» (Каир) составлена из стихотвореній неравноцѣнных. Как в большинствѣ стихов, пишущихся внѣ Парижа, в книгѣ Гладищева преобладает вліяніе Гумилева — прекраснаго учителя, если только ученик сумѣет преобразить его вліяніе собственным переживаніем. Вліяет на тематику Гладищева и обстановка, среди которой ему приходится жить — Египет. Земная жизнь, гдѣ душа находится как бы в плѣну и вспоминает свою небесную родину, разлад духа и матеріи, составляет основную тему Гладищева.

В плѣну у тяжести, — в земном плѣну —  
Томятся вещи и томятся люди.  
О, стоит ли молить судьбу о чудѣ,  
Так изступлено каждую весну.

Стихотворенія «любовнаго цикла», воспоминанія и «предметныя» — («Египетскій музей», «Сърый день в Каирѣ» и т. п.) менѣе удачны, они холодны, в них слишком явно замѣтен замысел.

Слѣдует отмѣтить книгу М. Роос «Мартовское Солнце». Видимо автор много поработал над стихом, благодаря чему ровность его строчек не переходит в условную ровность, но держится, пусть порой еще нѣсколько приблизительно, в его личном тонѣ. Чувствуется у молодой поэтессы и темперамент и движеніе, способность к динамической композиціи.

Книга Е. Базилевской «Домик у лѣса» пріятна простотой и чистотой тона. У поэтов, живущих в приграничных государствах (собственно — в бывшей Россіи) есть большое преимущество перед их «западными» собратьями: русскій пейзаж, который как бы поддерживает их, роднит их с русским воздухом. Наряду со стихотвореніями, навѣянными русской природой, Базилевская не чужда и общей темы современной поэзіи, того, что как то покойный Б. Поплавскій назвал «парижской нотой». В нѣкоторых стихах Базилевской есть и напряженіе чувства и извѣстная острота.

Борис Новосадов («Шершавые вирши») внутренне провинціалн. Примитивное богоборчество, примитивная игра в кощунство (ранній Есеин), умышленная неряшливость «виршей», заранѣ разсчитанныя на эффект словосочетанія — все это, попросту, утомительно.

Перед нами мальчишкою Авраам,  
Нами сто библий пережевано.  
Мы построим уже послѣзавтра храм  
Богу наиболѣе дешевому.

— т. п.

Однако, наряду с большими недостатками, в книгѣ то здѣсь, то там мелькнет хорошая строчка, иногда — цѣлая строфа, ствидѣтельствующая о природной одаренности автора, о том, что если б он взял на себя

труд «о многом задуматься и многому научиться», мы, вѣроятно, встрѣтились бы с интересным поэтом.

Л. Гомолицкій, пишущій уже давно, имѣет пристрастїе к «большим полотнам». О качествахъ «Эмигрантской поэмы» — предоставляю судить читателю по нижеслѣдующей цитатѣ:

... . Всю ночь первоначальным полны  
Тѣла забывшія вѣка;  
Дыханья медленныя волны,  
На них уснувшая рука...  
То — зыбь над бездною затаенной  
— Застынь — не мысль — полудыши! —  
То бред и жалость полусонной  
Полуживой полудуши...

*Ю. Терапіано.*

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

<i>Борис Поплавскій. Домой с небес</i> . . . . .	3
<i>В. С. Яновскій. Ее звали Россія</i> . . . . .	55
<i>С. Шаршун. XII. Письмо другу</i> . . . . .	67
<i>Н. Татищев. Отступленіе</i> . . . . .	74
<i>Анатолій Алферов. Рожденіе героя (отрывок из романа)</i> . . . . .	92
<i>Стихи: Б. Закович, Довид Кнут, Ант. Ладинскій, Ю. Мандельштам, Виктор Мамченко, Софія Прегель, Георгій Раевскій, Юрій Софіев, П. Ставров, Ю. Терапіано, Лидія Червинская, А. Штейгер</i> . . . . .	101
<i>Ю. Фельзен. I. Возвращеніе из Россіи</i> . . . . .	120
»    II. Умираніе искусства . . . . .	124
»    III. Разрозненныя мысли . . . . .	129
<i>Юрій Мандельштам. Перечитывая Паскаля</i> . . . . .	132
<i>В. Вейдле. Человѣкъ против писателя</i> . . . . .	139
<i>Ю. Терапіано. О Гумилевѣ</i> . . . . .	146
<i>Библиографія:</i>	
<i>Ю. Мандельштам. Д. Мережковскій «Лица святыхъ»</i> . . . . .	151
<i>В. Вейдле. М. Агѣев «Роман с кокаиномъ»</i> . . . . .	155
<i>П. С. Катаев «Бѣлѣтъ парус одинокій»</i> . . . . .	157
<i>В. Я—скій. Юрій Герман «Наши знакомые»</i> . . . . .	158
<i>Ю. Терапіано. «О новыхъ книгахъ стиховъ»</i> . . . . .	160
<i>Ю. Терапіано. Мочульскій «Владимір Соловьевъ».</i>	174



Склад издания:  
PETROPOLIS-VERLAG A. O.  
BERLIN W 15  
MEINEKESTRASSE 19

Для Франции и Бельгии:  
MAISON DU LIVRE ETRANGER  
PARIS VI  
9, RUE DE L'EPERON

*Printed in Germany*